

БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 38 1991

Петр СТРУВЕ

СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 38

Издается с января 1925 года

Петр СТРУВЕ

СКОРРЕ ЗА ДЕЛО!

СТАТЬИ

Москва. 1991.

ПЕТР СТРУВЕ В ИСТОРИИ НАШИХ ДНЕЙ

В небольшом вступлении трудно с необходимой полнотой рассказать о сложной и в конечном счете трагической жизни такой яркой личности, как Петр Бернгардович Струве (1870—1944), тем более что эта скромная книжечка его статей, преимущественно о литературе, — первая в России за семь с лишним десятилетий. Долгое время имя этого выдающегося экономиста, публициста, философа, историка, общественного и политического деятеля, Патриота упоминалось в СССР только отрицательно — как олицетворение всего наиболее реакционного и антисоветского. Последнее было верно. Уже в августе 1918 года Струве сделал вывод и подвел итог: «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором». До последних дней жизни он оставался последовательным и убежденным противником, более того — непримиримым и активным врагом большевизма. Струве выступал деятельным и настойчивым организатором белого движения, его идеологом и практиком, считая, что политика большевиков во всей ее совокупности, хаотичности и безнравственной случайности чем дальше, тем сильнее имеет конечной целью уничтожение и унижение России.

Что же касается реакционности... Вновь и вновь, в который раз, жизнь заставляет задумываться над относительностью и взорностью подобного рода определений. И сейчас, в тот, несомненно, исторический момент, который переживает наша страна, речь должна скорее идти не о политической позиции Петра Струве, но, во-первых, о самой его незаурядной личности, наложившей столь определенный отпечаток на общественную жизнь России первых десятилетий XX века, а во-вторых, об абсолютной значимости его разносторонней и многообразной деятельности, о системе и существе его взглядов и теорий, которые спустя много лет сохранили не только историко-мемориальное значение. Объективное осмысление далеко не однозначного и не бесспорного, но, несомненно, глубокого и значительного для русской культуры наследия Струве является своевременным и важным.

С именем Петра Струве связаны важнейшие этапы развития русского марксизма. Вышедшая в 1894 году одновременно с известной книгой Г. Плеханова работа Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» стала «первым манифестом марксизма в русской легальной литературе». В 90-е гг. прошлого века Струве называли «правовернейшим из правоверных» марксистов, и не случайно, что уже в конце июля 1896 года именно он выступал на Международном рабочем социалистическом конгрессе в Лондоне с докладом об аграрном вопросе и социальной демократии в России. Наряду с Г. Плехановым и М. Туган-Барановским Петр Струве считался едва ли не символом нового для России учения.

Вполне естественным для современников (посвященных) было и то, что I съезд РСДРП в Минске в 1898 году именно Петру Струве поручил написать Манифест своей партии. Много лет спустя, «после всего», большевики никак не могли «простить» первому съезду, что автором его манифеста был Струве», пытаясь замолчать или подменить его авторство.

Уже тогда Струве был известным публицистом. В редактируемых им и весьма читаемых марксистских журналах «Новое слово» (1894—1897), «Начало» (1899), «Жизнь» (1897—1901) наряду с теоретиками и «классиками» он сам выступал по вопросам литературы. В этих журналах из своего «прекрасного шумянского далека» печатался и Владимир Ульянов, которому Струве помогал и морально и материально, снабжая работой и книгами. Они познакомились лично на масленицу 1895 года в квартире на Охте у инженера Р. Э. Классона. В ту пору Владимир Ульянов считал своего ровесника «человеком очень талантливым и знающим», признавая, что уход его «будет, конечно, громадной потерей для всех *genossen*». Правда, очень скоро Владимир Ульянов продолжит резкую полемику с Петром Струве и станет величать его не иначе как Иудой, Теленком, политическим жонглером, Великим мастером ренегатства (см. переписку В. И. Ленина). Впрочем, Иудушкой, как известно, В. И. Ульянов окрестил вскоре и А. Д. Троцкого, а Теленком называл и М. Горького.

Петр Струве был одним из первых в России критиков марксизма «изнутри», ниспровергателем его окаменевших теоретических постулатов. Уход от марксизма, разочарование в нем, а может быть, его преодоление большой группой представителей его российских агентов (П. Струве, С. Булгаков, С. Франк, Н. Бердяев) стали не только фактами их личных биографий, но представляли попытку наметить новые теоретические и практические рубежи для России.

Несмотря на разрыв с «ортодоксальной» марксистской теорией, Струве продолжал непосредственно участвовать в борьбе против самодержавия. Он присутствовал при знаменитой демонстра-

ции у Казанского собора (вместе с К. Д. Бальмонтом), был арестован и послан в Тверскую губернию, откуда нелегально удалился в первую свою эмиграцию. В Штутгарте, Берлине, затем Париже со всей энергией и страстностью своего темперамента он создавал и редактировал журнал «Освобождение» (1902—1905), потом организовывал «Союз Освобождения», ставший основой конституционно-демократической партии. С кадетами и будет связана его дальнейшая политическая деятельность. Но это уже другой Струве — жестко противостоящий российской социал-демократии в ее крайне революционной, классово-конспиративной, «подпольной», как мы сказали бы теперь, и устремленной к абсолютной власти ипотаси.

Вернувшись в Россию тотчас после Манифеста 17 октября 1905 года, Струве оставался на родине до 1918-го, и это был для него важнейший период напряженной и тяжелой работы. Он непосредственно участвовал в политической жизни: на некоторое время избирался от кадетов депутатом 2 Государственной думы, близко общался с С. Ю. Витте и П. А. Столыпиным. Правда, политика была не самой сильной его стороной. Много времени Струве отдавал преподавательской работе в Университете и Политехническом институте, к чему, однако, у него тоже не оказалось особой душевной склонности. На первом же месте стояла огромная по своему размаху и наполнению журнально-организаторская, публицистическая работа в «Полярной звезде» и особенно в «Русской мысли». Этот последний журнал Струве единолично возглавлял с 1910 года (фактически — с 1906) и до его закрытия в 1918 году. Под руководством Струве «Русская мысль» стала едва ли не лучшим из тогдашних российских журналов. Уже в эмиграции он пытался возродить журнал в Софии, Праге, Берлине, Париже, привлекая крупнейшие литературные силы, но во многом заполняя его самодельно. Из «Русской мысли» разных лет извлечены некоторые публикуемые здесь статьи.

Двенадцать лет жизни Струве на родине — это годы созревания его теории о государственности Великой России, как «объединения многих народностей» при «гегемонии русской культуры». Это и пора «смутного стремления к церковному оформлению наших религиозных исканий», по словам С. Франка, что отразилось в сборнике «Вехи» весной 1909 года. Как известно, выдержав за полгода пять изданий, встреченная залповым артиллерийским огнем с разных сторон — от Д. С. Мережковского и П. Н. Миллюкова до В. И. Ульянова, — эта книга стала определенным фокусом русской философской мысли.

В апреле 1917 года П. Струве был избран действительным членом Российской Академии наук, но не успел принять участия ни в одном общем собрании старой Академии. В новой же, как и некоторое время И. А. Бунину, ему членство как будто и вовсе

не засчитывалось, и лишь эмиграция величала его академиком. Опираясь на свою триаду-концепцию о взаимосилности и взаимосообусловленности понятий «государственность — свобода — культура», как основе развития и спасения России, Струве пытался создать в 1917 году «Лигу русской культуры», которая объединила бы все противостоящие общественные силы. Затем успеха не имела, а вскоре...

В конце 1917 года Струве — в Ростове-на-Дону, откуда на лошадах февральскими дорогами возвращается в Москву. Ему угрожает арест, однако сбив свою знаменитую бороду, он, по свидетельству Франка, гулял по Москве и рассуждал на улицах. Но рассуждал, по-видимому, не только на улицах: Нина Берберова упоминает о его свиданиях с Брюсом Локкартом. Где и как они встречались? О чем толковали? Любопытная деталь: председатель СНК Владимир Ульянов-Ленин, прослышав о предполагаемом разгроме квартиры Струве в Петрограде, распорядился взять под охрану его библиотеку и передать ее в государственное хранилище. Где теперь эти книги?

Вскоре Струве снова на юге России — он встречается с А. В. Колчаком, участвует в работе Особого совещания при А. И. Деникине, является членом правительства П. Н. Врангеля. Ростовская газета «Великая Россия» сообщала о его активности при обсуждении проекта земельной реформы. Он ездил в Англию и Францию, вновь возвращался. Очень скоро началась вторая, беспрочная эмиграция — с неустроенным бытом в Праге, Берлине, Париже, с бесконечными выступлениями и призывами на страницах «Возрождения», «России», «России и славянства», с полемикой на разных эмигрантских сходах и посиделках, с непременным участием в деятельности Русского студенческого христианского движения, Братства Святой Софии, Союза галлиполийцев и т. д.

С 1928 года Струве осел в Белграде, где при поддержке местных властей возник Русский научный институт. Подобно многим своим «соизгнанникам» — цвет русской профессуры из Москвы, Петрограда, Киева, Одессы оказался за рубежом, — Струве читал лекции в этом институте, и, по воспоминаниям Франка, «было прискорбно видеть, что «безмерную сокровищницу своих знаний он рассыпал перед немногими русскими старыми генералами и старушками, составлявшими его аудиторию». В 1932 году в Белградском университете коммунистическая молодежь устроила ему obstruction.

В частном письме 1938 года Струве писал: «Я жалею, что не разбит параличом, не сошел с ума — может быть, тогда русская эмиграция вспомнила бы обо мне». Жить в тусклом Белграде блистательному петербургскому академику становилось все более трудно, неуютно, беспросветно. Он ездил на лекции в крохотный городок Субботица на венгеро-югославской границе — «одинокий, ну-

ждающийся, почти забытый обществом 70-летний старик», в мыслях которого была Россия — он следил за ее жизнью, выписывал и поглощал сотни книг о ней, а переписываясь с Франком, анализировал ее политическую судьбу, ее настоящее, ее будущее, пророчил, полемизировал, вспоминал.

«Да, Россию страшно понизили и принизили ложью и дурманом — от этого придется лечиться целыми десятилетиями, и можно ли будет вылечиться целому народу? Во всяком случае, истории придется тут — в этом я всегда был уверен — пустить в ход *medicamenta heroica*» (героические лекарства. — лат. Из письма в марте 1940 года).

Апрель 1941 года — бомбардировка, потом оккупация Белграда. В отличие от некоторых российских антикоммунистов, записавшихся в созданный гитлеровцами Русский Охранный корпус, Струве не считал немцев спасителями России. Он был арестован нацистами и отправлен в Грац. Видимо, старые его марксистские «подвиги» экспертами не позабылись. Через несколько месяцев этого русского старика с немецкой фамилией освободили, вернули, или позволили вернуться, обратно в Белград к полуслепой жене (в свое время ближайшей подруге Н. К. Крупской). Старая их квартира, «с миллионом книг» (никого уже не нашлось, чтобы ее сохранить) была разрушена, старики обитали, вернее коротали ночи, в холодном чулане, а днем ходили по знакомым, спасаясь от холода. Лишь в середине 1942 года они получили разрешение перебраться к сыну в Париж.

«Когда наступила германо-русская война, — вспоминала Екатерина Кускова, — Струве резко изменил свое отношение к войне уже наступившей. Он страстно ожидал поражения немцев, несмотря на Сталина... и до конца войны желал победы союзникам, в числе которых был и его заклятый враг, Сталин».

Последние месяцы и дни своей жизни Петр Струве проводил в Парижской Национальной библиотеке, продолжая работу — «хочу создать новый синтез всей русской истории, который должен приобрести и теоретическое значение и действительно-практический смысл» (письмо от 27.VIII.43). Рукописи его, говорят, пропали, хотя «Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности» вышла в Париже в 1952 г.

25 февраля 1944 года Петр Струве дважды ездил в Национальную библиотеку. На заре следующего дня он умер.

«Он не написал ни одной вполне законченной научной работы», — отмечал С. Франк, но, скажем мы, он оставил поколениям русских людей мечту о праве на свободную мысль и свободный труд, мечту о свободной, счастливой России, которая за всю историю человечества для него была единственной в мире.

* * *

Здесь собраны лишь некоторые из статей Петра Струве, главным образом о русской литературе и ее творцах, многих из которых он знал лично. Крупницы его воспоминаний, вне всякого сомнения, драгоценны. Струве не был литературным критиком и лишь одним боком — историком литературы, ее философом. Он просто любил русскую литературу, как любило ее большинство его современников, прекрасно ее знал, вне ее не мыслил себя и свой труд и порой оказывался проницательнее и зорче иных профессионалов. А циклы статей П. Струве, например, о Пушкине или о Толстом имеют самостоятельную ценность.

* * *

Эта книга готовилась по материалам фондов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Переписав и перепечатав тексты, захлопнув могучие переплеты с ветхими пожелтевшими комплектами истлевших эмигрантских газет, мы нечаянно обнаружили, что гораздо более полный, но иначе задуманный и отличающийся составом том под названием «Дух и слово» был выпущен еще в 1981 году парижским издательством YMCA-Press. В Ленинской библиотеке его не оказалось, и мы отправляем к нему заинтересованного читателя. Нам же все-таки остается радоваться, что «Библиотека «Огонек» возвращает современному нашему обществу хотя бы часть сочинений выдающегося сына России Петра Бернгардовича Струве.

Александр Д. Романенко

СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!

«Много дренажа требуют наши черноземы». Эти слова великого русского публициста, сказанные сорок лет тому назад, — увы! — до сих пор звучат жизненной правдой. В том возбуждении, которое охватило страну, еще не свободную, но уже освобождающуюся, господствует страшная трагическая путаница. Культура и бескультурность сталкиваются друг с другом в причудливых, хаотических сочетаниях. Проклятая сложность положения сковывает мысль и запечатывает уста. Но ужасающая серьезность этого положения обязывает бесстрашно продумать его до конца и смело выговорить свою мысль.

Что всего страшнее для страны? Что ей всего нужнее? Вот два вопроса.

Общество пугают требованиями, выставляемыми крайними партиями. Слова, как таковые, в настоящее время есть вещь самая неважная, самая безобидная. И те, кто пугает ими, говорят сущие пустяки. Не страшна нам и реакция бравых и небравых генералов самодержавия. Страшна прежде всего хозяйственная дезорганизация страны, потому что на этой почве может вырасти реакция, застой и падение культуры.

В виду этого стихийно надвинувшегося врага все мы обязаны отбросить доктринальные формулы, партийные мерки, кружковые пристрастия и антипатии и начать рассуждать по существу. По существу стране нужна равная для всех свобода и равные политические права всех. По существу стране нужно нормальное течение хозяйственной жизни и прочные социальные реформы. В сумятице хозяйственной дезорганизации могут быть забыты и действительно забываются и право и права. «Черная сотня» есть живое ужасное воплощение этого забвения. «Черносотенцы» попирают чужое право, и топчут в грязь, и заливают кровью всякие права, даже свои собственные. Всего менее понятно, что хозяйственную дезорганизацию страны готовы как будто возвести в принцип социалисты. Социализм есть идея хозяйственной организации, идея социального порядка. И наш долг сказать: в хаосе хозяйственной дезорганизации могут быть смяты и раздавлены не только социалисты — самая идея социализма может быть на долгое время погублена. Об этом стоит задуматься социалистам.

Октябрьская политическая забастовка была великим событием и делом (если только она была вообще чьим-либо делом). Русские люди смело могут назвать ее достославной забастовкой. Но не будем себе делать кумира, ни «иногое подобия» из этого могучего разрушительного орудия. Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка может явиться губительной и преступной. Забастовка минувшего была велика в своей стихийной силе. Но постараемся, но напряжем все свои силы для того, чтобы поскорее выйти из-под власти стихий. Из народной стихии должна скорее родиться нация, сознательная и самоопределяющаяся, нация, как совокупность свободных и соглашающихся между собой граждан. Создать нацию и пронести чрез тяжелый кризис русскую культуру не умаленною и ослабленною, а умноженною и укрепленною — вот

что должно быть теперь лозунгом всех русских граждан. Если это так, то нам необходимо как можно скорее покончить с процессом культурной дезорганизации, охватившим наше высшее и среднее образование. Молодежь возбуждена, она не может учиться, говорят нам. Пусть так, но мы обязаны сказать молодежи, что она не может, не должна своего возбуждения возводить в принцип отношения к науке и научной культуре. Диктатура политики над культурой несостоятельна, потому что революция не может стать противокультурной, не рискуя подорвать самое себя. Вот почему мы во имя революции должны протестовать и активно бороться против методов революционизма, подрывающих революцию. Культура никогда, даже в самые революционные моменты, не бывает несущественной мелочью.

В атмосфере русской жизни висит диктатура: диктатура тех, кого именуют «черной сотней», и тех, кто себя именует «революционным пролетариатом». Мы скажем и тем и другим, что стране не нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждет только права, свободы и хозяйственного возрождения. И никому так не нужно хозяйственное возрождение, как именно тем, кто стихийным возбуждением вовлечен в процесс экономической дезорганизации и социальной анархии: рабочему классу и крестьянству. Фабриканты могут уйти от хозяйственной дезорганизации, заколотив фабрики и переселившись за границу вместе со своими капиталами. Рабочие и крестьяне со своими женами и детьми могут уходить от нее только — в могилу. Мы должны прочувствовать этот ужасный баланс жизни и смерти для того, чтобы смело стряхнуть с себя гипнотизирующее иго формул и фраз и рассуждать и действовать по существу.

Время не терпит. Мы должны сейчас же активно организационно и творческой работой вступить в борьбу с хозяйственной дезорганизацией страны, в чем бы она ни выражалась, с идеями и вождельниками диктатуры и захвата, откуда бы они ни исходили. *Ни о каком компромиссе направо от права, свободы и политического равенства при этом не может быть и речи.* Крайние левые партии мы не станем убеждать бесполезными речами. Мы должны поставить их лицом к лицу с нашими действиями, — единственный метод, гарантирующий успех. Идти в массы и дать им свободную, не навязанную политическую и экономическую организацию — таков должен быть наш тактический лозунг. Мы понесем в массы программу политической демократии и широких демократических социальных реформ. Эта программа диктуется не партийными соображениями, а всеми интересами нации и культуры.

Время страшно серьезное, критическое. Мы не должны ни дать себя смести в общем переполохе, ни забиваться в угол «избранной» и привилегированной интеллигенции, отрезанной от народа. Мы должны вмешаться в самую гущу жизни, смело и твердо заняв в ней *свою* позицию, не поддаваясь никаким внушениям ни справа, ни слева.

Скорее за дело!

Ноябрь 1905 г.

ГЕРЦЕН

Очень нетрудно на имя Герцена нагромоздить ряд громких хвалебных эпитетов, но не так легко рассмотреть его истинное лицо. Герцен был великим публицистом, сильным умом, крупным художником слова. Но публицистика есть род литературы наиболее бранный; сильный ум Герцена не рождал отвлеченных идей, которым, как таковым, было бы суждено длительное существование; художественные его образы не ведут отдельного и отделенного от их творца, выражаясь школьным языком, «объективного» существования, — это не образы Гете, Пушкина, Тургенева, Толстого. Герцен мил нам, дорог, велик, вечен не как публицист, не как мыслитель, не как художник. Сквозь все эти «виды» его существования выступает нечто более важное, более ценное, более несомненное.

Герцен — великий и вечный человеческий тип в оправе мощной и красивой индивидуальности. Русская культура не знает ничего подобного ни выше Герцена, ни рядом с ним.

В чем же тут дело? Господа, я ужасно больно чувствую, как трудно рассказать, описать, убедительно и исчерпывающе выразить это словами. Есть, впрочем, одно слово, которым можно, правда бледно и бедно, сказать, чем же был Герцен. Это слово: *свобода*.

Не в том ограниченном смысле, что Герцен боролся против всякого внешнего гнета — за политическое и социальное освобождение. Эта борьба, конечно, стояла в теснейшей связи с его существом, была ярким излучением этого существа. Но именно только излучением чего-то еще более важного, коренного, ценного. Герцен был воплощением свободы, как вечной стихии человеческого духа. Он всегда боролся, всегда сомневался, всегда искал — и в этой борьбе с другими и с собой, в этих исканиях всегда был свободен, несмотря на всю свою пылкость, более того страстность.

Это — человеческий тип, которому ничто человеческое не чуждо, все понятно, но который сам неспособен быть одним — деспотом. Герцен понимал даже деспотизм, — вспомните, как говорил он о Петре Великом. Но деспотизм был для него внутренне чуждой стихией. Вот почему у Герцена было такое отталкивание от тончайшей, наиболее духовной формы деспотизма, от догматизма. Такие люди способны на всякую страсть, кроме самой жестокой — догматической. Такие люди иногда умирают на баррикадах, но они никогда не призывают других на баррикады и не тащат их на эшафот.

В истории русской культуры есть другой образ искателя и борца. Достоевский искал Бога и боролся с ним, — но всегда с чуждою Герцену

Речь, произнесенная в кружке им. А. И. Герцена 9 января 1908 г. Опул. газ. «Речь» 10.1.1908 г. — *Прим. авт.*

догматического страстью, с страстью — обрести окончательное, последнее, покоряющее, освобождающее от исканий решение. Среди наших современников и младших современников Герцена есть великий дух, столь же и еще более отличный от Герцена. Это уже не только искатель, воспламененный догматической страстью искания, — это человек, с догматической страстью утверждающий истину и все, во имя этой истины, сокрушающий. Лев Толстой, в процессе общественного развития России великий освободитель, — как человеческий тип воплощает в себе ту стихию человеческого духа, от которой Герцен внутренне отталкивался: деспотизм. Толстой был свободен и творил свободно, как художник. Но не сокрушил или, вернее, не сокрушал ли в течение десятилетий на нашей памяти догматик художника?

Ближе, родственнее Герцену Тургенев. Можно сказать, что Тургенев так же, как Гете и Пушкин, воплощает то же начало, что и Герцен: начало свободы, свободного отношения к миру. Но Пушкин и Тургенев «объективны», они выше всего в своих творениях, когда они переливаются целиком в эти творения — и те начинают жить отдельной от творцов жизнью. В этом образчике того же типа нет страсти свободы, которую был движим Герцен; в нем есть спокойствие, которое было чуждо Герцену. Те творили свободно, Герцен был сам свобода. Что и кто выше? Бесплодный спор. В искусстве Гете, Пушкин, Толстой — вершины, над всем возносящиеся. Пушкин понимал это, когда уходил от бурного Байрона и отдавал перед ним предпочтение спокойному Гете. В жизни и в культуре, вообще говоря, все типы одинаково нужны, одинаково велики и вечны: и властно-спокойные творцы, как Гете и Пушкин, и мятущиеся представители свободы, как Герцен. Такой человеческий тип, какой являл нам Герцен, мы склонны оценивать всего выше, когда бываем охвачены настроением, выраженным Гете в бессмертных словах:

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche.
Er unterscheidet,
Wählet und richtet.
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.*

Или как сказал Фет:

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознанием,

* Человек один
Может невозможное:
Он различает,
Судит и рядит,
Он лишь минуте
Сообщает вечность (Нем.). Перевод Ап. Григорьева.

Что в звездный день твой светлый Серафим
Громадный шар зажег над мирозданием
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я *сам, бессильный и мгновенный,*
Ношу в груди, как оный Серафим,
Огонь сильнее и ярче всей вселенной.

Можно отвергать многое, что признавал Герцен. Можно многое понимать иначе, чем он. Но нельзя сознательно отвергать то, что составляло существо Герцена — священное пламя свободы.

Русские люди — из всех человеческих стихий — с наибольшею страстью искали свободы и всего полнее изведали и испили деспотизма. Не только в смысле политическом, но и в смысле духовном. Самый последний перегон нашей истории, тот, от которого мы теперь отдыхаем в еще более утомительном затишье, измотал нас всяческим деспотизмом. Здоровый инстинкт толкает нас искать возрождения в свободе. В такое время теснейшее духовное общение с Герценом и его творениями будет обращением к подлинному источнику воды живой.

Один из национальных героев духа, Герцен не принадлежит какой-либо партии и какому-либо направлению. Не готовые решения и утвержденные рецепты, а дух свободы и культуры и сияние красоты обретаем мы в его творениях.

Тем, что Герцен воплотил с такой мощью и красотой в себе стихию свободы, он опередил свое время и предвосхитил тех, кто пришел гораздо позже его. В особенности это верно по отношению к России. В «иконоборческую», «направленную» эпоху 60-х годов Герцен пришелся не ко двору не как политический деятель, а именно как духовный тип.

Наше время ближе к нему. Многие из того, что новейшему человечеству явилось откровением от Ницше и от Ибсена, было заключено в Герцене, правда, не отделенное и не отделимое от его живой и красивой индивидуальности.

Как свободный ум, Герцен имел мужество смотреть в лицо действительности и подвергать суровой проверке своей лучшие верования и чаяния. Я не знаю в русской литературе произведения в этом отношении более замечательного по беспощадной критической честности ума, чем последнее и посмертное произведение Герцена «Письма к старому товарищу» (Бакунину). Тут Герцен собрал всю мудрость своей богатой жизни, и вся новейшая самокритика социализма *in пусе** находится в этих «Письмах».

* В сжатом виде; сконцентрированно (*лат.*).

Свободный дух Герцена не знал никаких кумиров и не боялся никакой правды.

Чем более мы будем верны этому завету неподкупной честности, тем легче и, главное, достойнее каждое поколение пройдет свой кусок того тернистого непрерывного пути «от освобождения к освобождению», которым, спотыкаясь и падая, идет ищущее свободы человечество.

СМЫСЛ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

«Мне очень хочется увидеть Толстого, хотя и боязно. Это какое-то существо громадное и страшное, прожившее не одну, а несколько человеческих жизней и притом таких, которые странно и страшно прожить одному человеку». Так писал я А. А. Стаховичу, когда мы условливались с ним относительно совместной поездки летом 1909 года в Ясную Поляну. До 1909 года я никогда не видел Льва Толстого, и я почувствовал, что должен его видеть. Я понимал, что скоро это будет невозможно.

Самое сильное, я скажу, единственно сильное впечатление, полученное мною от этого посещения, можно выразить так: Толстой живет только мыслью о Боге, о своем приближении к нему. Он уходит отсюда — туда. *Он уже ушел.* Телесно он одной ногой в могиле, потому что ему 81 год, но он может еще прожить не мало дней, месяцев и лет, ибо тело его еще не разрушилось, способен же он чуть не каждый день ездить верхом, что для многих из нас, вдвое его моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но душевно и духом он там, куда огромное большинство людей приходит только через могилу, незримо и неведомо для всех других. А он ушел, а я *это видел*, чувствовал о нем и с ним. И в то же время я *видел его*. В этой очевидности ухода из жизни живого человека было нечто громадное и для меня единственное.

В беседе со мной Толстой между прочим сказал: «Неудивительно, что мы с Вами несогласны, ведь я более чем вдвое старше вас». Помнится, я ничего не ответил на это замечание, помнится, только взглядом я выразил, что понимаю его, ибо я чувствовал, что в эти слова сам Толстой вкладывает не простое указание на свою старость, а то самое ощущение нескольких прожитых им жизней, с которым я, думая о нем, направлялся в Ясную Поляну.

Прожить так много, разве это не значило выйти из жизни? Но в то же время означал ли этот выход из жизни, что Толстой уже являл собой мертвеца, что от него веяло смертью и тленом?

Нет, ибо с ним произошло нечто редкое и великое. Прожив несколько огромных жизней, он из жизни вышел живым. Я ощутил это тогда, в первый и последний раз увидав лицом к лицу Толстого. Я окончательно понял, осознал это, когда пришла весть об уходе его из Ясной Поляны, когда мы с тревогой узнали, что его стережет телесная смерть. Выйдя живым из жизни, духовно преодолев телесную жизнь, он мог пойти и радостно пошел навстречу телесной смерти. Будучи «вне жиз-

ни» в здешнем ограниченном смысле, он стал неподвластен «смерти», он ее «попрал».

Когда в зимнюю ночь* Толстой «бежал» из Ясной Поляны, он уходил не от семьи и обстановки, не от собственности, барства и жизненного комфорта к простоте и скудости «мужицкой», «трудовой» жизни. Он думал, конечно, и об этом, но это не была его *главная* мысль. Не толстовство в смысле учения о земной «жизни» осуществлял он в своем «уходе». Земных целей этот уход не преследовал и не мог преследовать. Не «Царства Божия на земле» искал 82-летний старец. Он уже тогда поднялся над «жизнью» и «смертью», ибо пошел к Богу.

Его смерть поэтому так исключительна и значительна. Для меня это не «фраза», не «построение», для меня это очевидный психологический и религиозный факт.

Очевидный, ибо я его видел. Я видел не физическое умирание Толстого, не естественный физиологический факт, а таинственное религиозное преобразование. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как живой Толстой стоял вне «жизни». И так же, как я считал своим долгом при жизни Толстого молчать об этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися, объединенными одной мыслью и одним чувством, — религиозно почитать отошедшего Толстого, я считаю своим долгом свидетельствовать об этом великом факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была одержана труднейшая победа, тут совершилось величайшее торжество — человека над смертью.

Декабрь 1910

ГРАФ С. Ю. ВИТТЕ

Опыт характеристики

Граф С. Ю. Витте представлял историческую фигуру, настолько выразительную, что о нем не нужно и нельзя писать некролога. Некролог обычно это — собрание умолчаний, плод ретушировки, продиктованной особым чувством невыясненности того лица, оценку которого, после все примиряющей смерти, приходится давать.

О Витте нельзя спорить и совершенно не нужно писать с умолчаниями и экивоками. Это была сложная и противоречивая фигура; но все различные уклоны, складки и противоречия ее были обнажены, и именно в их обнаженности, если угодно, заключалось в значительной мере своеобразие этой исторической фигуры. Далее, значение людей, становящихся крупными государственными деятелями, часто определяется вовсе не размером их личности, а тем, что они попали в определенную историческую минуту на определенную полочку. Задача и обстановка

* Л. Н. Толстой покинул Ясную Поляну на рассвете 28 октября 1910 г. — А. Р.

творяют не только человека, они часто создают все значение человека. Исторические деятели часто в буквальном смысле сосуд, в который по какому-то капризу влилось определенное содержание. Часто история выбирает своим орудием если не первого попавшегося человека, то просто того из многих, которые были «под рукой». Витте совсем не принадлежал к таким случайным людям истории: его значение связано с размерами его личности, есть его собственное, а не заимствованное значение.

В истории русского управления мало фигур можно поставить рядом с Витте и одного только человека можно поставить выше его: Сперанского. Но и то не по личной даровитости, которую Витте превосходил всех русских государственных деятелей, облеченных властью, начиная с Александровской эпохи и кончая нашими днями. Витте был, несомненно, гениальным государственным деятелем, как бы ни оценивать его нравственную личность, его образованность и даже результаты его деятельности. Более того: все личные недостатки Витте лишь подчеркивают его политическую гениальность. Подчеркивается она и тем, что, как государственный деятель, Витте не обладал никакими знаниями, был, вопреки довольно распространенному противоположному мнению, попросту говоря, необразованным человеком. Экономический «гений» Витте следует искать не в плохих трактатах по политической экономии, написанных чужими руками, а в государственном творчестве, свободном от пут доктрин и с какой-то державной легкостью разрешавшей трудности, перед которыми останавливались мудрецы и знатоки. Способность Витте понимать самые трудные государственные вопросы, находить самые разумные решения в запутанных областях управления, выбирать нужных людей определялась гениальной интуицией рожденного государственного деятеля и администратора, а вовсе не опытом и не каким-либо «знанием». Его тяготение к науке и ученым, его широко либеральная оценка высшего образования, памятником которой навсегда останутся политехнические институты, были выражением гениального инстинкта и пиетета к науке человека, который сам всегда стоял вне науки и ей был глубоко чужд.

Нравственная личность Витте — следует прямо сказать — не стояла на уровне его исключительной государственной одаренности.

У меня говорю об его свойствах как частного человека, которых я не знаю. Но нравственная личность государственного человека проявляется и в политической деятельности. Витте не был просто оппортунистом, его гибкость и приспособляемость шли гораздо дальше того делового приспособления к условиям места и времени, которое необходимо в практической политике.

Он был по своей натуре беспринципен и безыдеен. Политическая история знает много крупных до гениальности политических деятелей, изменявших свои взгляды и соответственно этому переходивших на новые пути. Гладстон, Бисмарк, Чемберлен, Победоносцев принадлежат к числу классических примеров политических превращений. В деятельности Витте никогда не было идейного центра, к которому он морально тяготел бы. Витте не изменял в этом смысле взглядов и принципов, ибо

их у него вовсе не было. Витте никогда не был ни либералом, ни консерваторм. Но иногда он был намеренно реакционером; иногда же присоединялся к силам прогрессивным. Его стихией однако была область государственного строительства, политически и нравственно безразличного. Когда он становился лицом к лицу с общими вопросами политики, он не способен был восходить к моральным основам таких вопросов. Оттого такие великие вопросы русской жизни, как община, университет, земство, так легко превращались под его руками в материал для интриг, для «ходов», при которых какие-либо общие начала и даже интересы родины и народа ступеньки перед борьбой за власть и влияние. В Витте не было ни грана идеализма и в его гибкости была изрядная доля органического цинизма. Вот почему могло сложиться и широко укорениться представление, что от Витте можно всего ожидать. Отсутствие морально-идейного стержня у Витте было особенно поразительно именно в связи с его политической гениальностью. Это оно налагало на всю его фигуру какой-то почти зловеющий отпечаток.

В сущности, ту же самую черту можно выразить и охарактеризовать еще с другой стороны. Один из творцов конституционной России, сам Витте был совершенно лишен всякого чувства права. Мы знаем, что Сперанский под ударами судьбы согнулся и согнул свое правосознание. Но Сперанский не только как юрист, а как моральная личность в самые тяжелые времена был напоен чувством и идеей права. Этого Витте совсем не было дано. И не потому, повторяем, что он не был юристом, а потому, что права и правды Витте никогда не чувствовал, в них никогда не жил.

В других условиях государственной жизни атмосфера права обнижала бы со всех сторон такого государственного деятеля, как Витте, и самый вопрос о том, было ли у него чувство права, не возникал бы вовсе. Но в России конца XIX и начала XX века нужно было и нужно до сих пор вести *борьбу за право*. Витте душой никогда не мог вести такой борьбы, и в этом громадное отличие ответственного автора манифеста 17 октября от автора плана государственного преобразования России. Сперанский, поскольку он начертывал новое право, делал это смело, упреждая свое время, дерзновенно прозревая в будущее. Витте, как гениальный делец, только раскрывал затворы для чуждого ему бурного потока нового правосознания и правообразования, который — это было уже явно — нельзя было остановить и который поэтому необходимо было канализировать.

Для правового творчества необходимы подъем и полет особого рода, не просто деловая и деляческая гениальность. И этого подъема и полета, несмотря на всю изумительную одаренность Витте, ему не было дано.

Но понимать и оценивать Витте нужно именно в масштабе *таких* сопоставлений. Всякие современники склонны создавать мнимые, дутые величины и рядом с этим преуменьшать свое время именно в его самых крупных проявлениях. По этой психологической причине Витте недостаточно оценивался у нас при жизни. Его слабости и недостатки скра-

давали совершенно необычные размеры его личности. Смерть сразу может и должна в этом отношении внести должные поправки и пролить истинный свет.

Витте не только был исключительно одаренным государственным деятелем. Он вложил своею личностью в великие события и воплотил свою энергию в больших делах. Преобразование тарифного дела, управление русскими финансами в сложную эпоху окончательного перехода всего русского народного хозяйства на капиталистический путь, самая смелая и грандиозная валютная реформа, когда-либо произведенная, введение казенной продажи вина и вообще подъем техники финансового управления до чрезвычайно высокого уровня, опрос России об ее нуждах через достопамятные сельскохозяйственные комитеты, Портсмутский мир, манифест 17 октября, ряд важнейших законов 1905 и 1906 гг. — все это и многое другое связано с именем Витте в русской истории.

Витте потерпел неудачу в деле осуществления манифеста 17 октября. Но как бы строго ни судить его деятельность в трудную эпоху междоусобицы великого манифеста и созывом первой Государственной Думы, — не в ошибках Витте, конечно, ключ к неудаче этих первых шагов нашей конституционной жизни.

Бесспорно, он сделал много ошибок, но и без них переход к новому государственному строю был соединен с трудностями *непреодолимыми*. Великая реформа 1905 года была неизбежна, но она нашла и власть, и народ неподготовленными к принципиально новым отношениям. Сам Витте не умел даже технически приступить к разрешению новых задач совершенно иного порядка, чем задачи того чисто бюрократического управления, в делах которого он искутился. Между провозглашением начал правового государства и их осуществлением в практике взаимодействия народа и власти лежало огромное расстояние, воздвигались препятствия, которые никакая личная воля не могла побороть. Правда, Витте не только не преодолел трудностей, он в значительной мере потерялся в них и среди них. Тут обнаружились роковые пределы, в которые не могла не быть заключена деятельность Витте, как гениального администратора-практика старого абсолютного порядка и как человека, которого гений правды совершенно не коснулся.

Витте понял необходимость коренного преобразования нашего государственного строя, но, как человек старого порядка, он в новых условиях, рожденных в буре и грозе, не мог разом и победоносно разобраться. Состояние, в котором находился Витте после 17 октября 1905 года, было состоянием недоумения, растерянности и пассивности. Между тем только активная борьба направо и налево и чрезвычайная творческая активность управления могли бы тогда кристаллизовать и в правительстве, и в обществе дееспособные элементы, которые были бы в силах осуществить властвование в духе новых начал. В этой обстановке Витте положительно не нашелся. Но никто не может сказать, что даже если бы он в ней и нашелся, его деятельность увенчалась бы успехом. Конечно, активность Витте в эпоху с октября 1905 года по апрель 1906 года, может быть, иначе направила бы развитие некоторых наших политических

отношений, но основных трудностей, заключающихся в самой стремительности перехода от старого порядка к новому, даже она не смогла бы преодолеть. Ведь ошибки и неподготовленность цвета русской оппозиции — кадетов — в эту эпоху были вряд ли меньше, чем ошибки и неподготовленность власти и правительства.

Фигура Витте стоит на рубеже двух эпох русской истории и принадлежит им обеим. Размеры этой фигуры таковы, что для нее в известном смысле разом наступила история, и в самый день смерти стала принципиально возможна справедливая оценка. При такой оценке нужны большие масштабы. Исчез с исторической сцены человек, исключительная одаренность которого только подчеркивается его слабостями и недостатками, — несмотря на все свои очень большие недостатки и весьма крупные ошибки, Витте вложился в дела великого исторического значения не как случайная фигура, которой выпал счастливый жребий, а как человек, отмеченный государственным призванием.

1915

«ДВЕНАДЦАТЬ» АЛЕКСАНДРА БЛОКА

«Двенадцать» Александра Блока, по-видимому, самое сильное до сих пор отражение революции в литературе. Уже сейчас можно сказать без преувеличения, что это подлинно *памятник* революционной эпохи. В этом произведении действительно отразилась революция, ее безбожие, ее бесчеловечность, ее — перефразируя другие стихи того же поэта — *бессильный, непробудный грех*. В предисловии, которым П. П. Сувчинский сопроводил софийское издание «Двенадцать»*, он определяет поэзию Блока как *чувственный реализм* и не очень высоко оценивает его творчество с религиозной точки зрения. Поэтому «образ Христа в белом венчике из роз» — неубедительный, тусклый, чужой, случайный и безответственный, даже недопустимо безответственный, кощунственный (стр. 6).

Справедливый суд и заслуженный приговор, но его надо, мне кажется, расширить и углубить. Все произведение Блока, при потрясающей чувственной правдивости, делающей из него большую художественную ценность и первоклассный исторический памятник, религиозно, а тем самым и эстетически, двойственно и противоречиво, не примирено в себе, как не примиренным в себе и эстетически незаконченным и потому несовершенным был всегда и остается Блок. Тут религиозный критерий сливается с эстетическим. Правда изображения в «Двенадцати» Блока религиозно не освобождена от цинизма или кощунства восприятия. Отсюда то естественное отталкивающее впечатление, которое на многих производят «Двенадцать».

* Александр Блок «Двенадцать», с предисловием П. Сувчинского. Российско-Болгарское Книгоиздательство. София (б. о. г.) стр. 36. — *Прим. авт.*

Человек, а потому и писатель, может к пороку, греху, мерзости, пошлости относиться различно: их можно воспринимать безразлично в процессе простого отображения или изображения; их можно превозносить и идеализировать и, наконец, к ним можно относиться с эстетически-иерархической оценкой, ставя их в надлежащее соотношение с другими сторонами лирики или действительности. Только последнее отношение эстетически правильно и религиозно законно.

Блок в своих «Двенадцати» колеблется между этими тремя отношениями. Истинная, совершенная поэзия, образцами которой могут служить поэтические части Библии, «Фауст» Гете, «Борис Годунов» Пушкина, всегда эстетически-иерархически и тем самым религиозно расценивает изображаемое. И потому она никогда не впадает в соблазн кощунства. Между тем у Блока почти всегда двусмысленное отношение к изображаемому, заключающее в себе опасность цинизма и кощунства.

Относительно А. Блока ставился еще вопрос об его отношении к русской революции. Этого вопроса П. П. Сувчинский касается в заключении своего предисловия. Но нам его понимание Блока в этом отношении невразумительно.

Отношение к русской революции есть частный случай отношения к греху и мерзости вообще. Оно у Блока тоже двусмысленно, цинично и кощунственно. Это не может не восприниматься болезненно всеми любящими красоту блоковской поэзии. Ведь тот же самый поэт, который написал соблазнительно-кощунственное «Двенадцать», написал стихи «На поле Куликовом», «Русь», «Россия», проникнутые историческим смыслом, любовью к живому и вдохновенному образу России, поруганному безбожной и бесчеловечной, кощунственной и мерзкой революцией, в «Двенадцати» изображенной, но не преодоленной ни эстетически, ни религиозно. Невольно вспоминается вещее признание самого же Блока, что он принадлежит к какой-то проклятой породе людей, к «детям страшных лет России», у которых «в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота».

На правдивом изображении лица революции в «Двенадцати» лежит именно соблазнительная печать «роковой пустоты» в религиозном отношении.

Январь 1921 г.

IN MEMORIAM*

Блок — Гумилев

Я хорошо помню Блока, я слышу его голос, его образ стоит передо мной и вновь подымает во мне мысли, которые возбуждались когда-то и встречами с этим человеком и чтением его произведений.

* Памяти (лат.)

И в то же время мы очень редко встречались и почти никогда не обменивались мыслями. Я знаю из слов и намеков общих знакомых, из формы писем, что я как-то и чем-то был мил Блоку, что я для него не был просто «общественный деятель», «профессор» и «редактор» такой-то. И я чувствовал в свою очередь, что Блок мил мне, мил лично, и как человек, и как поэт (хотя с его общественно-философскими взглядами я вовсе не был согласен и не все его произведения мне нравились). Но мы этого друг другу так никогда и не сказали. Что-то в этом роде мелькнуло, помнится, в том письме его ко мне, далеком по форме от всякой интимности и нежности, с которым он посылал в «Русскую мысль» «Возмездие», и в моем ответе ему.

И вот он умер.

Блок был мечтатель в общем и глубоком смысле особого человеческого типа.

Но мечтатель *страстный* и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. И в то же время мечтатель *бездейственный*. Есть ведь и мечтатели действенные; вечно стремящиеся что-то выразить вовне, мечтатели-воины, мечтатели-охотники, даже мечтатели-преступники. Не таков был Блок, бездейственно-страстный мечтатель. Нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще его литературное творчество. Ибо для него — и это существенная черта Блока! — поэзия была гораздо более внутренним актом, чем внешним действием. Он пел, и потому он так *напевен*, но он пел для себя, ни о ком вовне не думая, и потому так трудно «произносить» Блока в его собственном духе. В страстной мечтательности Блока было что-то германское (по отцу он был шведского происхождения), угловатое и непрактичное, та самая стихия, которую в немецкой индивидуальной культуре выразил так болезненно-ярко Гейнрих фон Клейст. По характеру же литературного дарования они совсем непохожи; у Блока, как у *творца*, гораздо больше внутренней близости с певцом «голубого цветка» Новалисом.

Я никогда лично не знал отца Блока, но читал почти все, что написал этот малоизвестный, неудавшийся профессор-государственник. Он был тоже мечтатель, искавший в государственной науке исхода своим политическим страстям, и так же бездейственно-страстный, как и сын. Блок-отец был славянофил в государственном праве, веривший в Россию и не веривший в Запад. Он был беспорядочным и тяжелым в общении человеком и плохим семьянином. На его произведениях, забытых и не оказавших почти никакого влияния на русскую науку, но любопытных и индивидуальных, лежит печать тех же черт, которыми отмечена личность Блока: мечтательности и страстности, неспособной к действиям. И даже А. А. Блок взял кое-что от отца из его идейного содержания: туманное и тяжеловесное, не просветленное, а, наоборот, *мрачное народничество*. То народничество, которое как-то входит в состав и большевизма, как исторической стихии.

Мать Блока вышла из богатой одаренной семьи (она была дочерью ботаника Андрея Николаевича Бекетова). Одна из ее сестер, по мужу

Краснова, была талантливой поэтессой, другая сестра тоже писала. Я их знал. Это были хрупкие, нежные существа. С этой стороны Блоку передалась та женственность и нежность, которая составляет неизъяснимую прелесть некоторых его произведений и которая так очаровывала в его личности, именно в удивительном сочетании с мужественной страстностью. Если бы Блоку было суждено дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственная и мужественная, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унося в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, она была о России, которую он любил со всею нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души!

Но все-таки *«Двенадцать»* — величайшее достижение Блока. В нем он мощно преодолел романтизм и лиризм, в совершенно новой, *своей* форме сравнялся с Бальзаком и Достоевским. С Бальзаком — в объективном, достигающем грандиозности изображении мерзости и порока; с Достоевским кроме того — в духовном, пророческом видении, что в здешнем мире порок и мерзость смежны со святостью и чистотой в том смысле, что не внешняя человеческая стена, а только какая-то чудесная, незримая, внутренняя черта их разделяет в живой человеческой душе, за которую, в *земном*, неизменно борются Бог и Дьявол, Мадонна и Содом*.

* * *

С Гумилевым я тоже редко встречался. Передо мною, как редактором большого журнала, конечно, прошли почти все более или менее крупные русские поэты новейшего времени. Но я был страшно занят, и личное общение с сотрудниками было для меня, к великой моей скорби, почти недоступной роскошью. Однажды, я помню, Л. Я. Гуревич собрала многих из молодых поэтов в редакции «Русской мысли». В числе их были Гумилев и Ахматова, тогда его жена. Не только в личной жизни, но и в истории русской поэзии эти два имени останутся связанными. И прежде и потом я еще несколько раз виделся с Гумилевым.

Он был тоже мечтателем, но другого, чем Блок, — *действенного* типа. Он был воин по натуре и призванию, живший всем своим существом на войне и на охоте. До великой войны он ездил в Африку — охотиться. В войне он принимал участие, как боевой кавалерийский офицер.

Он жадно воспринимал внешние впечатления, яркие экзотические краски, внешне-драматические положения борьбы человека с зверем и состязания человека с человеком. В изображении моряков, водителей кораблей, искателей приключений за морями, он достигает классиче-

* В «Двенадцати» есть неясности, на которые я указал в первой книжке «Русской мысли» зарубежного издания, но они не устраняют художественно-объективной значительности этого произведения. — *Прим. авт.*

ской силы и простоты. Эти его стихи войдут во все хрестоматии русской поэзии. Вообще Гумилев был, как мне кажется, по преимуществу эпический поэт, способный мастерски *изображать* то, что он любил, что было мило и родственно его существу воина и охотника.

С душою воина он соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине-матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских воинов-поэтов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире большевицкой низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью — *память о самых ужасных днях падения и мук России*. То, что его казнили *палачи России*, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять.

Сентябрь 1921 г.

ПРОРОК РУССКОГО ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Столетие со дня рождения Достоевского. Целая эпоха русской истории — пять царствований и огромный совершенно исключительный исторический опыт, и индивидуальный, и соборный! И в то же время Достоевский больше и важнее той исторической эпохи, в которую он оказался вдвинутым. Он стоит над историей, ставит вопросы вечные. Этот великий романист во многих отношениях переросший своих первоначальных учителей, Гоголя* и Бальзака**, был не только великим религиозным мыслителем, он сам замечательное религиозное явление.

Один английский автор, написавший весьма серьезную интересную книгу о Достоевском, сказал, что у Достоевского не было жизни. Трудно было произнести суждение более превратное. У Достоевского не было, быть может, *биографии*, но у него была *жизнь*, исключительная по напряженности, ибо до краев полная самым основным религиозным содержанием, жизнь, вовсе не только писательская или литературная. Мы можем об этой жизни только догадываться, ибо он поведал ее нам лишь

* В первые годы своей деятельности Достоевский, при всем предвещании будущей великой силы, — прямой ученик Гоголя, печать которого лежит на всех юношеских произведениях Достоевского, даже на их языке. Но после ссылки он уже совершенно опирается на самого себя. И насколько по религиозному содержанию «Братья Карамазовы» значительнее всего, что писал Гоголь! — *Прим. авт.*

** Бальзак был несравненный изобразитель не столько пошлости, сколько страстей и пороков, и Достоевский недаром перевел «Eugénie Grandet», но Бальзак никогда даже не подозревал того, что Достоевский пережил как *свой* грех, *свою* порочность, *свою* судьбу. — *Прим. авт.*

в объективных образах и проблемах своих романов. Но их объективность не только не есть протокольность, она не есть даже чисто художественное изображение чего-то вне их творца существующего. Личный душевный опыт Достоевского воплотился в фигуры и драмы его произведений: то, что думают и делают его «герои», этим жил он сам, над этими безднами он сам стоял, не отвлеченно, не «воспроизводя» их, как воспроизводили драмы жизни другие художники, а в самом подлинном смысле слова. Раскольников это не произведение Достоевского — это сам Достоевский. Но еще вернее, что Карамазовы — это сам Достоевский. Соберите Карамазовых, Федора Павловича, Ивана, Димитрия и Алешу, и вы получите Достоевского. Или иначе: разложите Достоевского на отдельные стороны его страшно сложной природы, и вы с изумлением, я даже скажу — с содроганием, увидите перед собой Карамазовых. «Братья Карамазовы», а не «Преступление и наказание», как думал Розанов, и являются основным произведением Достоевского: в нем он сложил и воплотил свой личный религиозный опыт, свою страшную борьбу с Богом и за Бога, свое неверие и свою веру, свое безбожие и свое благочестие, свою смрадную греховность и свою страшную жажду очищения и чистоты. Он в своей душе носил касание этих полярностей, враждебных и в то же время родственных. Но носил и переживал он это касание не как эстетическую психологическую игру, а как религиозную, жизненную реальность, из которой исход один: Бог. Как могут сосуществовать грех и Бог, страдание и Бог, несправедливость и Бог — этим вопросом мучился Достоевский, в эту загадку и тайну он хотел проникнуть. Одна мысль была — отвергнуть Бога. Вне всякого сомнения, много раз Достоевский подходил к этому решению. Но он принял Бога, и это принятие Бога, трудное и в то же время радостное, есть главная тема не то что его произведений, но всей его жизни, с ее страстями и борениями, с ее муками, с ее падениями и восторгам.

Достоевский был великим грешником в том реальном смысле, в каком ими бывали Фиваидские и иные христианские старцы. И его писательство было его *послушанием*. Не в переносном, а в том совершенно реальном религиозном смысле, в каком монахи налагали и налагают на себя послушание. Кто знает, быть может, Достоевский под конец жизни так же пришел бы к подлинному иночеству, как это сделал другой великий русский грешник и великий религиозный мыслитель Константин Леонтьев.

Достоевский пришел трудным и скорбным путем греха и борьбы к Богу, ко Христу, к Церкви. Он стал верующим христианином, православным. Это не есть какое-либо «случайное» и несущественное «биографическое» дополнение к его художественной деятельности. Наоборот, художественное творчество в процессе душевного опыта Достоевского стало лишь своеобразным, для него лично естественным и необходимым выражением его религиозного послушания. А это религиозное послушание было для него главным итогом его жизни, было, в сущности, его жизнью.

Только так можно понять Достоевского. Его писательство и его вера тесно связаны с его жизнью и с его грехом. Алеша, брат Ивана и Мити, рожден Федором Павловичем и благословен старцем Зосимой — это не литературная «выдумка» Достоевского, в этом рассказе о Карамазовых он поведал нам свой религиозный опыт, опыт греха и покаяния, отвержения Бога и его приятия.

Достоевский — громадное религиозное явление, как бы учитель веры и отец церкви в оболочке великого светского писателя многосоставной культурной эпохи. Как таковой, он гораздо больше и сложнее, а потому и труднее для понимания, чем великие пророки и учителя веры прежних времен. Но по существу и в конечном итоге он относится к ним. Его философское и политическое мировоззрение — Достоевский величайший борец против атеизма, материализма и социализма — может быть понято тоже только как истечение его религиозной веры. Он был националистом во имя Бога, ибо в национальном призвании России он видел подлинный зов Божий.

Достоевский по своему социально-политическому мировоззрению был противником в одно и то же время и социализма, и буржуазного либерализма, покоящегося на материализме и утилитаризме. Ни с религиозно-метафизической, ни с исторической точки зрения в этом нет ничего странного. Буржуазный космополитический радикализм в духе Гольбаха, Гельвеция и Бентама родил атеистический социализм в духе Оуэна и Маркса. Достоевский, будучи враждебен буржуазному радикализму и атеистическому социализму, был своеобразным русским христианским социалистом.

Принципиально менее понятна его враждебность к католицизму и католической церкви. В этой враждебности была некая историческая и националистическая ограниченность, непонятная с той принципиально-церковной точки зрения, на которой в конце своего жизненного пути утвердился Достоевский. Я имею в виду не его легенду о великом Инквизиторе, которую нельзя принимать за обledenное в образы отвержение католичества, как такового, а ту вполне конкретную враждебность к римской церкви нашего времени, которая так ярко выразилась на многих страницах «Дневника писателя». Теперь совершенно ясно, что Достоевский именно со своей собственной религиозной и церковной точки зрения недооценивал значения церковного и социального делания римского католицизма. Это тем более ясно, что Достоевский был несомненно христианским социалистом и в то же время был чужд протестантизма с его религиозным субъективизмом. Таким образом, уклон его практических церковно-религиозных устремлений был как раз очень близок к духу новейшего социального католицизма. Если бы Достоевский жил в наше время, его отношение к католицизму было бы совершенно иным — не надо ведь забывать, что в своей враждебности к католицизму в 70-х годах XIX века он доходил до сочувствия Бисмарковскому культуркампу и до сопоставления римской церкви с социалистическим интернационалом. Эта исторически обусловленная враждебность Достоевского к католицизму вовсе не вытекала необходимо из его

православной религиозности. Последняя для него была действительно характерна. Католическая, православная, протестантская религиозность суть разные типы христианской религиозности вообще, и религиозность Достоевского была именно православной и притом русско-православной. В ней не было организационной суровости ни римско-католической, ни даже византийской. Не даром византийцу Константину Леонтьеву эта религиозность представлялась каким-то «розовым христианством», чуть что не гуманизмом, прикрывающимся христианством. Это было не так: в старце Зосиме, а потому и в Достоевском больше религиозной русскости, чем в Константине Леонтьеве, который умер иноком Оптиной Пустыни. Бывший фурьерист и поклонник Жорж Занд, Достоевский стал настоящим столпом православной веры и выразил в своих произведениях дух православия с исключительной, единственной силой. Если в каком-нибудь историческом явлении выразилось положительное мировое значение русской национальной и вероисповедной стихии, то именно и прежде всего в грандиозном духовном явлении Достоевского. Будучи по духу православным и русским, Достоевский в то же время и именно поэтому получил мировое значение и признание.

Для нас, русских, в этом и великое поучение, и великое утешение. Столетие рождения Достоевского совпадает с ужасной катастрофой русского государственного и национального бытия. И исцеление от язв этой прежде всего духовной катастрофы русское сознание найдет в самом духовном явлении своей новейшей истории, в Достоевском. Он возвращает русское сознание к его подлинным источникам, он наполняет его живой водой.

Достоевского Мережковский назвал «пророком русской революции». Это верно в самом точном смысле слова. Теперь мы уже знаем, что Достоевский воистину предрек русскую революцию во всем ее духовном происхождении и существе. «Бесы» не только роман, а в некоторых своих частях написанная провидцем пророческая книга, подобной которой нет ни в какой другой литературе*. Но в какой литературе есть что-либо подобное и «Братьям Карамазовым»?

Не является ли Достоевский, как провидец и духовный вождь, пророком не только русской революции, но и русского духовного возрождения?

Да, он таков. Ибо возвещать возрождение и подлинно возрождать могут только носители религиозного света.

А великий грешник и великий страдалец Достоевский носил в себе и высоко вознес для других этот вечный светильник.

Сентябрь 1921 г.

* Ибо даже с чисто положительно-исторической точки зрения «Священное Писание» не может быть сопоставляемо с индивидуально-литературными произведениями. — *Прим. авт.*

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Умер Короленко, в той ужасной обстановке всероссийского разорения, которую иностранцы почти не способны понимать, потому что они не ощущают тех отравленных источников, из которых поднялось и излилось это море смерти.

Я не могу в этой заметке дать исчерпывающей характеристики покойного Короленко, но я хотел бы закрепить индивидуальный образ его, как исторической фигуры. Таковой ведь является всякий крупный деятель своего времени, и моя задача сводится к тому, чтобы попытаться вставить фигуру Короленко в историческую рамку эпохи или, вернее, эпох.

Короленко приобрел значение сперва как беллетрист. В первой половине 80-х годов начали появляться его навеянные сибирскими впечатлениями рассказы, в которых крупный изобразительный талант сочетался с обаятельной душевной мягкостью. Это было что-то новое и значительное в литературе, которая потеряла Достоевского и Тургенева, в которой сошел со сцены Гончаров и замолк на время Лев Толстой. Жили, правда, и действовали Лесков и Глеб Успенский, где-то зрел Чехов, но в общем это была все-таки эпоха иссякновения литературного творчества.

Короленко не явился сразу, как большой писатель, но он вошел в литературу со своим лицом. И был тотчас замечен. Его полюбил массовый интеллигентный читатель, тот, который создал успех юрьевско-лавровско-гольцевской «Русской мысли»; его оценил и отметил такой крупный и политически стоявший в совершенно другом лагере человек, как Иван Аксаков. Короленко, несмотря на то, что живы были гораздо более крупные, чем он, писатели Лесков и Успенский, стал в оценке широко образованной публики на несколько лет первым из русских беллетристов, ибо Лев Толстой стоял уже тогда совсем на особой высоте, вне всякого ряда. Этому содействовали «прогрессивное» направление и та своеобразная интеллигентская чувствительность Короленко, которые, не навязывая себя противохудожественно читателю, пронизывали все его произведения.

Став известным беллетристом, Короленко постепенно перешел и на другое амплуа — публициста. Личная дружба и почти совместная жизнь связывали его с Н. Ф. Анненским, и в нижегородский период жизни и деятельности Короленко они работали вместе, почти как один писатель в двух лицах. Но в историю публицистики Короленко вошел со своим собственным лицом, характерным именно для него, а не для более методичного, более ученого, но менее писательски одаренного и оригинального Анненского. Как публицист, Короленко был, пожалуй, более оригинален, чем как беллетрист, и вот почему. Он не был вовсе публицистом в том смысле, в каком, всякий на свой лад, были публици-

стами Иван Аксаков, Катков, Чернышевский, К. К. Арсеньев и многие другие *minorum gentium**. Он не ставил общих вопросов, не развивал принципов. Или он делал это, но только на особый лад — попутно. Основным содержанием его публицистической работы была борьба за реальные, даже конкретные задачи, непосредственно касавшиеся интересов живых лиц (голод!) и за поправленные права этих лиц (мултанские вотяки!). *Короленко был упорным и бескорыстным ходатаем и печальником о чужих делах в публицистике.* Как таковой, как особый тип конкретного публициста, который брал конкретные случаи, как живую боль живых людей, он войдет в историю русской публицистики и общественности. Перед этой функцией и этой ролью совершенно ступшевуется его роль просто как обличителя**. Обличать не было его главной задачей, даже, более того, роль обличителя сама по себе не соответствовала его основному и высшему призванию. Ибо, будучи ходатаем-печальником, он не был адвокатом и еще меньше он был прокурором-обвинителем. По своей натуре он вообще не был стороной, а скорее судьей. Отсюда беспартийность Короленко, которая была бы еще ярче, еще определеннее, если бы он окончательно освободился от направленства.

В этом отношении у духа Короленко были весьма определенные и довольно узкие границы. Не будучи по своей натуре вовсе борцом-революционером***, он как личность сложился в атмосфере революционной борьбы 70-х гг. XIX века. Не будучи ни теоретиком, ни даже просто мыслителем, он духовно вырос в понятия радикальной идеологии той же эпохи. Этим объясняется, почему Короленко не мог видеть и оценивать многих явлений, не укладывавшихся в этот традиционный кругозор. Мне памятно, как в 1899 году я, в беседе с Короленко, отмечая дарования и духовно-литературную значительность В. В. Розанова****, встретил со стороны Короленко снисходительную улыбку совершенно недвусмысленного характера: он не видел и не предвидел в Розанове первоклассного писателя, каким тот стал. Об этой ограниченности кругозора приходится пожалеть тем более, что та черта Короленко, которую я характеризую как беспартийность, была сама по себе нечто более значительное, была чертой, представлявшей не только в русской жизни тех времен, но и абсолютно большую ценность. Это была не просто политическая беспартийность, а некоторая высшая позиция, в которой справедливость судьи органически сочеталась с живым интересом защитника, бескорыстно, по внутреннему влечению избиравшего предмет своей заботы и своей защиты.

* Младших, низших родов (*лат.*).

** В «Освобождении» были напечатаны под псевдонимом несколько публицистически-обличительных статей Короленко, которые я при случае перечислю. — *Прим. аст.*

*** Именно по темпераменту своему Короленко не был не только революционером, он даже не был политиком. — *Прим. аст.*

**** В 1899 г. была напечатана моя статья о Розанове «Романтика против казенщины», первое в прогрессивной литературе признание крупного дарования и значения этого писателя. — *Прим. аст.*

Ибо именно таков был Короленко. Если бы он не был выдающимся писателем-художником и если бы он не стал влиятельным публицистом, он наверно оставался бы редчайшим по доброте человеком, изливавшим вокруг себя благодать и по внутреннему влечению творившим добро.

Январь 1922

АКСАКОВЫ И АКСАКОВ

*К столетию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова
(род. 26.IX.1823 — 27.I.1886)*

Столетие со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова!

Есть имена и лица, которые бледнеют и гаснут в истории, и есть другие, которые как-то расцветиваются красками, светлеют и все ярче и ярче разгораются. И таким и русское национальное и славянское сознание должно ощущать Ивана Сергеевича Аксакова.

Не обинуясь надлежит сказать, что это первый по специфической духовной одаренности и значительности русский публицист. Есть только два имени, которые можно поставить рядом с именем Ивана Аксакова. Это — Герцен и Катков. Оба они были влиятельнее Аксакова в ту эпоху, когда они писали, но оба они, Катков вообще, Герцен как публицист, в известном смысле исчерпали себя в делании для своей эпохи.

Иван Аксаков принадлежал к семье, исключительной по дарованиям трех ее членов. Отец, Сергей Тимофеевич, оказался в позднем возрасте первоклассным писателем, несравненным изобразителем быта, созерцавшим и бравшим его таким, каким он *был* в самом буквальном смысле слова. Таков же С. Т. Аксаков и в изображении природы. Редко кому бывает уделено художественное дарование именно в этих пределах, редко кому дано быть художником, ни малейшим образом не напрягая своей фантазии, ничего не выдумывая. А именно это дано было Аксакову-отцу («Отесеньке»).

Старший брат Константин был филолог, историк и поэт. Всего значительнее он был как историк. Нежная душа в слабом теле, он жил ощущением, созерцанием и осмысливанием того соборного начала, выражением которого мыслится сверхиндивидуальная личность, народ. Его интересовала и влекла к себе именно эта загадочная проблема и фигура — народ, влекла как некое материнское лоно множества невидных и неведомых личностей, из собирательных молекулярных движений и действий которых складывается в конце концов цельная и мощная стихия, рождающая каждого из нас, стихия, в которую каждый из нас мимовольно и неотвратимо погружен. Именно народ, а не государство, свободное творчество соборного духа, а не управление и нудящая сила соборной воли, стоял в центре созерцания наших славянофилов.

Рядом с отцом, художником быта, и братом, философом народности, натурами созерцательными по своей сути, стал Иван Аксаков. В нем художническая чуткость отца к быту и природе и философски-исторический интерес брата к народу сопряглись с величайшей действенностью.

Я имел счастье в своем детстве видеть Ивана Сергеевича Аксакова, и я хочу поделиться с читателями своими впечатлениями двенадцатилетнего мальчика, первой идеологической любовью которого были славянофилы вообще и редактор «Руси» в частности. В начале 80-х гг., около мрачной грани 1 марта 1881 года, не в узких кругах революционно-настроенной интеллигенции, а в довольно уже широких слоях просто образованного общества шло какое-то духовное движение, обнаруживалась какая-то идейная тяга к национальным идеалам. Младший сын в семье, я был рано приобщен ко всему тому, что тогда составляло духовное содержание жизни. Вместе со своей семьей я пережил эпопею русско-турецкой войны и ее финал — Берлинский конгресс и трактат, заключение которого вызвало пламенный протест — историческую речь Ивана Сергеевича Аксакова. Мы, дети (да и одни ли только дети?), конечно, мало понимали в политике, но мы с волнением ощущали, что Россия оскорблена и унижена в своем национальном и славянском призвании. А когда Иван Аксаков громко и мужественно поведal всему миру об этой обиде — наши души трепетали созвучно с его боевым духом русского и славянина, глашатая и вождя. Я живо помню, каким огромным духовным озарением для русских образованных людей явилась Пушкинская речь Достоевского — в нашей семье получалась и читалась «Дневник писателя». По рассказам отца я знал, в какое событие превратились похороны Достоевского. Рядом с именем Достоевского в нашей семье в начале 80-х гг. всегда называлось с благоговением имя Ивана Сергеевича Аксакова и тетрадки «Руси», сперва большого формата, а потом в обычную осьмью долю, с увлечением читались и прилежно перечитывались. Я втихомолку строчил что-то для «Руси», скрывая написанное и от родителей и от братьев. Мать моя что-то писала и Достоевскому и Аксакову. И вот когда, после пребывания в течение трех лет за границей, мои родители с младшими сыновьями проездом побывали в Москве (это было летом 1882 года), в нашем номере в «Славянском базаре» появилась фигура героя моих детских идейных восторгов и политических увлечений, Ивана Сергеевича Аксакова. Он пришел отдать визит моему отцу и поблагодарить мою мать за читательское сочувствие. Передо мною был крепенький человечек, пожилой, но весьма живой, по наружности малорослый великорусский «мужичонка». Теперь, когда я вспоминаю эту фигуру и когда я, вновь переживая свое детское и столь радостное для меня до сих пор волнение, вызываю в своем уме образы никогда не виданных мною (умерших до моего рождения) Сергея Тимофеевича и Константина Сергеевича, я их прямо *физически-лично* ощущаю. Грузный Сергей Тимофеевич, который навсегда врезался в память каждого видевшего его известное изображение в «архалуке», был непосредственным отпрыском и частицей того быта, который он

так любовно изображал. В наружности Константина Сергеевича, в его какой-то слабой и рыхлой фигуре, выразилась та созерцательность и удаленность от брани жизни, которой была запечатлена вся его личность. Наоборот, в маленьком теле Ивана Аксакова была как-то собрана огромная действенность и законченно выразилось то своеобразное сочетание неукротимого восторга и боевой энергии с трезвостью, с чувством меры и возможностей, с хозяйственной деловитостью, сочетание, в котором вся сила и прелесть подлинного политического горения и национально-государственного делания.

Иван Аксаков был не художником, созерцателем быта, как его отец, не философом, созерцателем национальной истории, как его брат, а неутомимым деятелем и неукротимым борцом за национальные идеалы, который с юности своей бросился в самую гущу жизни. Эта тяга к практической работе сделала его последовательно чиновником, литератором-публицистом и общественным деятелем в самом многообъемлющем смысле слова. В его личной жизни замечательно именно то, что, будучи приверженцем и носителем мировоззрения и писателем, он не замкнулся ни в учении, или теории, ни в писательстве, или пропаганде. В лице Ивана Аксакова, более чем кого-либо, более чем Александра Ивановича Кошелева, более даже чем Юрия Федоровича Самарина, славянофильство спустилось с высоты историко-философского учения и вошло в реальную жизнь. Подобно Кошелеву и Самарину, Иван Аксаков был практическим деятелем. Но он больше их обоих был на протяжении всей своей жизни настоящим борцом. Унаследовав все духовное богатство старших славянофилов, он в качестве редактора ряда блестящих периодических изданий, выходивших с 1858 по 1886 год (год его смерти), смыкал и сомкнул славянофильские учения с конкретными вопросами и запросами общественной и государственной жизни России. В этом смыкании был свой стиль или, да позволено будет употребить одно из излюбленных самим Иваном Сергеевичем и красивых русских слов, был свой «лад», т. е. своя собственная смысловая красота, воистину музыкальная. В публицистике Ивана Аксакова был свой лад и строй. Эта духовная музыка была гармонически проникнута двумя основными мотивами-идеями: идеей свободной личности и идеей себя сознающего и утверждающего народа, т. е. идеей нации, в которую не может не быть погружена даже самая свободная личность.

Вот почему Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и гражданина и за национальное начало. Ему было присуще острое и тонкое чувство права, укорененного в правде, и глубокое, трепетно-восторженное ощущение соборного начала народности. В русской публицистике нет лучшей защиты свободы слова и совести, чем классические статьи на эти темы Ивана Аксакова. Его статья в «Руси» против цензурного ведомства, которое почти перед самой смертью знаменитого публициста осмелилось обвинить его в «недостатке истинного патриотизма», читалась и перечитывалась людьми нашего поколения буквально с трепетом и восторгом, как беспримерно-мужественное

обличение бюрократической тупости и как такая же защита свободной речи.

Все, в чем выражалась сила и величие нации — ее исторические достижения, духовные и государственные, ее историческое призвание, — находило себе красноречивого истолкователя в Иване Аксакове. Многое в отдельности сейчас, по существу, может быть, воспринимается и оценивается нами иначе, чем даже Иваном Аксаковым, не только славянофилами вообще. Мы стали, я думаю, большими государственниками, чем были вообще славянофилы. Но мы теперь, вслед за ними, стали столь же убежденными националистами, и опять-таки не в смысле только доктрины или учения, а в смысле внутреннего ощущения, в смысле некоего *душевного трепета*, самого для нас основного и неукротимого.

Внутренний строй и лад аксаковской публицистики нашел себе чудесное выражение в его языке. Иван Аксаков — классик русской речи. Никто ни до ни после него не говорил таким сильным и ярким языком русским людям о праве, свободе, государстве, народе и народности. В этом чеканном языке красота русской поэтической речи, суровая четкость языка государственного управления и торжественная важность и неизъяснимая сладость церковного слова образовали какой-то новый сплав для выражения одушевленной пламенным патриотизмом гражданской мысли. Не случайно, что этот первоклассный публицист дал и неувядаемые образцы гражданской лирики, проникнутой каким-то скорбным пафосом.

Есть еще один род литературы, эпистолярный, в котором имя Ивана Аксакова должно быть поставлено в первом ряду русской письменности. Он оставил замечательные по содержанию и форме письма, в которых отразилось все богатство его души, все многообразие его запросов и интересов. Письма эти — поучительный исторический документ своего времени и первоклассное произведение национальной литературы, иногда возвышающееся до несравненной поэтической красоты.

Глашатай права и правды, народности и междуплеменного славянского братства, Иван Аксаков хорошо понимал и знал действительную жизнь и, в частности, был одарен живым видением хозяйственной жизни. В истории русской экономической науки почетное место занимает его исследование украинских ярмарок, превосходное произведение описательной политической экономии. Но интерес его к хозяйственной жизни не ограничивался одним литературным к ней прикосновением. Иван Аксаков не боялся войти в хозяйственную жизнь своей страны и своего родного города Москвы и как практический деятель. Этот «народный трибун», этот подлинный художник слова был директором банка (одного из первых основанных московским купечеством обществ взаимного кредита). И это не было случайно, а соответствовало его глубочайшему убеждению в неразрывной связи между духовной и «материальной» культурой страны. Это входило в его общественное служение. Сейчас весь смысл этой подробности биографии Ивана Аксакова раскрывается перед нами с такою ясностью, которая была, быть может, не-

доступна его современникам и в том числе нам, юность которых совпала с славным концом его долголетней деятельности.

Роль Ивана Аксакова в славянском единении была для его времени чрезвычайно велика. Его имя было знаменем и для русских и для других славян. Для врагов славянства он был «пресловутым панславистом» («der berühmte Panslavist»), для многих русских западников — вредным мечтателем-националистом. Однако, по существу, многие мечты Аксакова уже стали непрекращаемой действительностью. И если Россия повержена, то потому, что она, по временному безумию, отреклась от основных идей своего великого сына, и, если другие славянские страны возродились к новой самостоятельной и национальной жизни, то в этом — свершение аксаковских исторических прозрений и оправдание его жиздительных идей. Недаром одна из улиц столицы освобожденной русской кровью Болгарии, Софии, носит имя Аксакова, и недаром в духовном центре возрождающегося славянства, в Праге, среди сочувствия представителей братского народа воскрешается его духовный облик и творится хвала его имени.

Прага Чешская
Ноябрь 1923 г.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РОДЗЯНКО

Умерший недавно Михаил Владимирович Родзянко долгое время занимал едва ли не самое видное место в русской государственной жизни и казалось, что ему были суждены еще более громкие успехи. Но пришла революция и превратила его в бессильного и ненужного человека. Как это случилось и был ли он виноват в этом?

Часто причисляют Родзянко к виновникам и пособникам революции. Обвинение это и несправедливо, и нелепо. Родзянко принадлежал к числу тех людей, которые иногда неумело, но всегда искренно и честно стремились предупредить революцию, поскольку они ее ожидали, и затем смягчить ее бедствия и бессмыслицы, когда она наступила. На голове Родзянко, так же как еще раньше — Д. Н. Шипова и множества других земцев, разыгралась трагедия исторической России, погубленной борьбой, ненужной и нелепой, борьбой государственных сил между собой. Эта борьба дала возрасти общему врагу, революции, которая пожрала и монархию и земство и десятилетиями насаждавшуюся земскими людьми культуру, материальную и духовную.

Обвинение М. В. Родзянко в том, что он поощрял и готовил революцию, чудовищно нелепо. Мне пришлось в самом начале революции немало времени провести вместе с покойным, и я могу удостоверить, что самая революция и его «присоединение» к ней стоили М. В. подлинных душевных мук. Прежде чем решиться «возглавить» революцию в том весьма условном смысле, в котором это состоялось, М. В. пережил большую внутреннюю борьбу. Теперь, когда, обращаясь назад, мы видим

совершенно ясно, что под оболстительной личиной очистительной революции в России подкралась самая гнусная измена, спалившая и опозорившая великое государство, многое в эти смутные и густо застланные всяческими туманами и дымом дни представляется нам иначе, чем тогда. Но тогда виделась только одна возможность и один путь, а именно тот, на который с болью в сердце и после внутренней борьбы встал Родзянко. Скоро ему пришлось убедиться, что Россия зашла в тупик. Одно время он думал — и это заблуждение с ним разделяли, к моему изумлению, многие, — что какую-то полезную роль может сыграть г. Керенский. Но потом М. В. Родзянко вместе со многими примкнул к белому движению, духовно участвуя в его подготовке еще с лета 1917 года. В его гостеприимном доме я несколько раз встречался, именно весной и летом 1917 года, с А. В. Колчаком. Как известно, на юге М. В., больной и слабый, сопровождал Добровольческую Армию в ее героическом Ледяном походе.

Если М. В. Родзянко не был пособником и виновником революции, то одно несомненно: во время войны он только и думал, что о боеспособности наших вооруженных сил, об их снаряжении и снабжении. Все свое влияние и значение в роли Председателя Государственной Думы он употребил на служение этой задаче и в ее осуществлении сыграл видную роль. Это хорошо известно всем тем, кто, как пишущий эти строки, находился в то время в живом общении с покойным, и именно по делам этого рода.

Тем большим ударом был для М. В. Родзянко принятый революцией антипатриотический и антигосударственный оборот.

Люди, родившиеся в 50-х, 60-х и 70-х гг. XIX века, все более и более сходят с жизненной арены. Этим людям, ставшим свидетелями и жертвами великой катастрофы, пришлось испить горькую чашу почти без всякой надежды увидеть обетованную землю, — возрожденную Россию. В числе таких людей особенно трагическую фигуру, удрученную и государственными бедствиями и личным горем, являл Михаил Владимирович Родзянко.

Мир праху его!

Прага, апрель 1924 г.

МОЕ ПРИВЕТСТВИЕ Б. К. ЗАЙЦЕВУ

В прошлом декабре чествовалось двадцатипятилетие литературной деятельности Бориса Константиновича Зайцева. На обеде, данном ему его личными друзьями и почитателями, а также людьми, ценящими русскую литературу, я приветствовал Б. К. несколькими словами. Мое приветствие было написано, но я говорил, не вынув даже из кармана своей бумажки. Наверное, я сказал и больше и меньше, чем было в моей записи, но здесь я печатаю именно ее.

«Вас сегодня все хвалят. Это нестерпимо для того, кого хвалят: своего рода китайская пытка. И страшно приятно для тех, кто хвалит: своего рода теплая и иногда даже горячая ванна, в которой сам купаешься и подчас паришься.

Я, как умеренный и, можно сказать, говоря отвратительным жаргоном современности, спец по части умеренности, изберу средний путь. Не буду терзать Вас китайской пыткой дружеских похвал и даже не посажу Вас вместе с собой в горячую или теплую ванну из таких похвал.

Вы — писатель *чувствительный*. За это Вас любят читатели — всегда, везде читатели, в простоте душевной, в душевном здоровье, недоступном критикам, не в обиду будь им сказано, любили, любят и будут любить чувствительность. Ибо читатель хочет, вместе с писателем, расчувствоваться, погрузиться, поплакать и потом — воспарить.

Это ему нужно, и на это он имеет право.

Еще раз, Вы — писатель чувствительный. И этим Вы напоминаете, на свой лад, фигуру того знаменитого писателя, столетие смерти которого исполнилось в этом 1926 году. Помните параллель чувствительного и холодного. Есть именно и среди писателей эти два разряда. Вы всецело чувствительный, гораздо более чувствительный, чем был Карамзин. В Вас совсем нет ни холода, ни металла. Ни в содержании Вашем, ни в Вашем стиле нет ни того, ни другого. В галерее Ваших современников, старших, ибо — увы! — для многих из нас Вы еще молодой человек, я отчетливо вижу холодных и металлических. Таким был — не коммунизмом и не советчиной будь помянут! — покойник В. Я. Брюсов, крупный писатель и одаренный человек. Таков, с совершенно своим, особым лицом, наш знаменитый председатель, или «презус», Иван Алексеевич Бунин. Он, как металл, обжигает и режет своим холодом.

Вы же — чувствительный и облачный, нет, пожалуй, нужно сказать другое слово, *дымчатый*.

Вы всегда чувствуете и *даете* и себя чувствовать и над Вами расчувствоваться, пребывая сами в каком-то очаровательном облаке и в какой-то пленительной дымке. Простите, если я Вас хвалю, но ведь я все-таки говорю юбилейное приветствие, а не совершаю *трупоразъятие*, как любил говорить Герцен.

И стиль Ваш облачный и дымчатый, не металлический и не прозрачный.

Тот знаменитый французский писатель, о котором иногда говорят, что у него вовсе не было стиля, Стендаль, сам о себе поведал, что он упражнялся или тренировался в стиле, читая и вчитываясь в гражданское уложение Наполеона. Это апогей стиля холодных писателей.

Вы же в своем стиле просто отдаетесь потоку Вашей собственной чувствительности.

Ваш стиль весь сотворен из лучей той Голубой Звезды, которая когда-то и раз навсегда Вас пронизала своим светом.

Ну вот, я опять вдаюсь в какие-то похвалы, а обещал от них воздержаться.

На этом я окончу, сказав лишь еще одно: особое спасибо Вам за книгу о Святом Сергии Радонежском, в которой Вы напомнили русской молодежи за рубежом о том самом ценном, подлинно непререкаемом, что дала древняя *Святая Русь*.

1927

Н. С. ЛЕСКОВ. НЕСКОЛЬКО ЧЕРТ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Судьба Н. С. Лескова, как деятеля русской литературы, своеобразна. На три года только моложе Льва Толстого, Лесков в общественном признании отстал от Толстого, а тем более от Тургенева лет на 30—40.

Обращаясь к своим воспоминаниям, я могу сказать, что для отцов нашего поколения, т. е. для людей, родившихся между 1820 и 1830 годами, Лесков не был классиком, хотя они его знали и на свой лад ценили, и что на памяти именно нашего поколения и в значительной мере уже после смерти Лескова произошло общественное признание его значения, огромный рост его известности, ставшей, — всецело на нашей памяти, — славой.

В этом нет ничего удивительного. Добролюбов в конце 50-х годов как первого русского писателя называл С. Т. Аксакова. Значит, около 1860 года самый влиятельный в ту пору русский критик не ставил еще в первый ряд литературы ни Тургенева, ни Толстого, ни Достоевского. Между тем в эпоху, когда я начал читать отечественную беллетристику, т. е. в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия, именно эти писатели непрерываемо стояли в первом ряду русской, да и мировой литературы, тогда как Лескова в это время если и читали, то считали одним из очень и очень многих.

Лесков в русской литературе, как словесном искусстве, не стоит, впрочем, одиноко. Во-первых, он был всегда писателем с направлением, сперва одним, потом другим и воспринимался именно как таковой общественным сознанием. Засим и по своей общей манере, по стилю и характеру своего творчества, при всем своеобразии этого творчества, Лесков вовсе не стоит особняком в нашей литературе.

С внешней стороны Лесков — бытовик с исторической окраской. Не исторический романист в отличие от Лажечникова, Загоскина, Нестора Кукольника, Гр. П. Данилевского (который, впрочем, был тоже и бытовик), а именно исторически окрашенный бытовик. Как бытовик, Лесков подхватывает нить с одной стороны Владимира Ивановича Даля — Казака Луганского, с другой — становится как бы в один ряд с Алексеем Феофилактовичем Писемским, с Павлом Ивановичем Мельниковым-Печерским и с Г. П. Данилевским. Особенно ясна связь Лескова с Далем.

Сказано 15 июня в Белграде на собрании имени Н. С. Лескова, устроенном Обществом русских поэтов. — *Прим. авт.*

Теперь стало общим местом признание исторически-бытовой красочности Лескова и его языка. В этом отношении Лесков примыкает к Далю, превосходя его как творец и не достигая его как систематик-коллекционер. И так же, как Даль, как Гоголь, как Достоевский, Лесков как-то восходит к Эрнсту Теодору Амадею Гофману, гениальному писателю, способному музыканту, порядочному судье и несравненному гуляке, самому *влиятельному* немецкому писателю первой четверти XIX века, романтическому крестному отцу и Бальзака, и Гоголя, и Достоевского.

Но в творчестве Лескова и общее во всей его жизни было движение и не только движение, была глубокая внутренняя борьба. Я имею тут в виду не столько то, что Лесков после публицистически-обличительной «правой» стадии своего творчества, когда он разошелся с либеральным и радикальным общественным мнением, постепенно уходил и под конец жизни окончательно ушел и от этих «правых», литературных и официальных кругов. Лесков испытал и другой переворот, чисто личный и глубоко интимный.

Мне несколько раз пришлось видеть Н. С. Лескова в период времени примерно между 1888-м и годом его смерти, 1895-м, т. е. когда мне было 18—25 лет. Это была эпоха самого сильного влияния Толстого как религиозного мыслителя, влияния, захватывавшего все поколения и все виды творчества (напомню о влиянии Толстого на Н. Н. Ге и на А. Ф. Кони!), и я видел Лескова как раз на первом чтении в Петербурге одного из не напечатанных еще, волновавших публику произведений Льва Толстого, в довольно тесном кругу лиц, которые, однако, все были так или иначе под обаянием Льва Толстого как религиозного мыслителя. И Лесков в последние годы жизни испытывал огромное влияние Л. Толстого. Собрались в квартире А. М. Калмыковой. Тут были, кроме хозяйки, помнится, толстовец П. И. Бирюков, позднее биограф Толстого, А. Ф. Кони, благообразный старичок, знаменитый живописец Н. Н. Ге, либерал и в то же время поклонник Толстого князь Д. И. Шаховской, близкие к нему братья Сергей и Федор Федоровичи Ольденбурги и несколько других лиц. Со всеми ними я раньше встречался, только Лескова я увидел тут впервые. Как живой встает он передо мной. Войдя в комнату, где мы собрались — это была поместительная, но низкая комната первого этажа, во двор, в том доме на Литейном проспекте, в котором умер М. Е. Салтыков-Щедрин, — Лесков грузно опустился в кресло. Он не производил впечатления ни мягкого, ни общительного человека. Наоборот, его глаза остро и в то же время скорбно смотрели как-то поверх присутствующих, куда-то не вдаль, а точно внутрь. Станный и жуткий взгляд!

В чем же была разгадка влияния Толстого на Лескова, почти такого же старика, как и сам Толстой. Мне кажется, дело обстояло так. Лев Толстой привлекал тогда Лескова не своей борьбой против церкви — вряд ли в отрицании церкви Лесков следовал за Толстым, — а своим бунтом против плоти. Словом, Толстой действовал на Лескова не как выразитель свободомыслия, а как проповедник аскетизма. Я тогда

же ощутил это, а в настоящее время, оглядываясь назад, я в этом совершенно уверен.

Подобно Льву Толстому, Лесков был человеком сильных страстей и страстных переживаний. У Толстого эта страстность осложнялась самовлюбленностью и эгоистической холодностью натуры. Холод Толстого был его силой. Я думаю, что Лесков был лишен этого сильного Толстовского холода, был лишен его и в своей страстности и в своем позднейшем аскетическом отвращении от нее, был проще и цельнее. Он духовно и чувственно, до подлинного и сурового аскетизма, *возненавидел* свои страсти и свою плоть. В аскетизме Лескова и Толстого было то общее, что и физиологически и психологически в основе его лежал у обоих непобедимый, животный и в то же время как-то неразрывно с животностью спаянный, религиозный страх смерти, сочетавшийся у Лескова так же, как у Толстого, с непреодолимым художническим и художественным, эстетическим интересом к смерти, к ее подробностям, к ее безобразию, о котором так лапидарно говорит чин православного отпевания: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразную, безславную, не имущую вида».

«Лесков,— говорит г-жа Н. Макшеева в своих наивных, но любопытных и ценных воспоминаниях о последних годах его жизни (см. «Московский Еженедельник» от 25 октября 1908 года, с. 50),— считая людскую жизнь бременной и скоропреходящей, много думал о смерти. Героическая смерть Сократа была для него образцом достойной кончины.— «Ну, полно, можно ли не бояться смерти»,— говорил ему один из знакомых.— «Потому-то я и ценю Сократа, что мне самому далеко до него»— отвечал он. В то же время Лесков считал полезным напоминание людям о смерти. В фельетоне г. Суворина «Тень Достоевского» ему понравилось описание того, как бабы мыли тело покойного писателя.— «Почаще бы надо рисовать людям такие картины»,— говорил он.— Живо запечатлелась у меня в памяти подобная же сцена, когда мыли тело моего покойного отца. Я думаю когда-нибудь описать ее.— Да, великая заслуга Льва Николаевича,— продолжал он (Лесков),— что он изображает как тело самой красивой женщины стареется, являются седины, морщины. Самые обаятельные женщины теряют свою прелесть, когда случается их видеть в курортах, каждый день, во всех видах, больными и без прикрас. Тем более, когда для них надвигается старость».

Как сильно волновал его вопрос о той неизвестности, которую ставит перед человеком смерть, показывает один из наших разговоров. Толковали мы о целях жизни, о стремлении некоторых людей улучшить современное положение России. «Да что вы все говорите о России. Об этом ли надо думать?»— обратился он ко мне.— Думайте о том, что вот вы сейчас сидите здесь и вдруг вас не станет и вы явитесь перед лицом Бога». И эти слова были произнесены с такой тревогой в голосе, что жутко стало. Признавая тщету чувственных удовольствий, Н. С. тем более не понимал культа мертвого тела. Однажды, выслушав мое стихо-

творение «На могиле Герцена», он заметил: «Зачем вы останавливаетесь на могиле? Вы лучше напишите, что Герцен умер, но дух его жив».

В тех же воспоминаниях г-жи Макшеевой мы читаем об отношении Лескова к Льву Толстому:

«Останавливая свою тревожную мысль на искателях Божества, старающихся выяснить себе и миру смысл жизни, Лесков видел такой светящийся маяк... из современных писателей в Л. Н. Толстом, наиболее удовлетворявшем голодную душу Н. С. На Толстого он смотрел, как на мудреца, непонимаемого современниками, которого оценят в будущем. «Наши потомки будут говорить: это было в век Толстого, как называли век Вольтера», — говорил он».

Увлечение Лескова в последнюю эпоху его жизни Толстым и его религиозностью, хорошо известное всем в ту пору знавшим Лескова, знаменовало, на мой взгляд, некоторое оскудение духовной и, в частности, художественной силы автора «Соборян». Моралист в эту эпоху урезывал и подрезывал в Лескове художника и удалял его от его стихии, *быта*. А в то же время морализирование обедняло и религиозность Лескова. Этот изобразитель русского духовенства, который постиг не только низины и слабости его быта, но и вершины и красоты его духа, под конец своей жизни не способен был понять такое большое духовное явление, какое представлял о. Иоанн Кронштадтский.

Вне всякого сомнения, Лесков вошел как большая величина в историю русской словесности и духовности, но не своей последней фазой, не как узкий моралист, испытывавший на себе подавляющее влияние Толстого, а своей срединной фазой, художественно, через быт и в быте, уловивший и воспринявший стихию религиозности вообще, русской народной религиозности, в частности и в особенности, и воплотивший ее в ряде незабываемых и потрясающих образов.

Белград

15 июня 1930 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ

В этом году исполнилось тридцать лет, как под Москвой, в имении Трубецких, скончался Владимир Сергеевич Соловьев, знаменитый блестящий философ, публицист, поэт.

Я тогда же написал некролог Соловьева. Если бы я теперь стал давать его оценку и характеристику, она вышла бы в значительной мере исправлением и, пожалуй, опровержением этого некролога*. Но сейчас я не ставлю себе задачи — дать обобщающую характеристику знаменитого философа.

* Этот некролог вместе с весьма резкой полемической статьей против Соловьевского «Оправдания Добра» помещен в первом сборнике моих статей «На разные темы» (1893—1901 гг.) СПб., 1902, с 187—202.— *Прим. авт.*

Перед моим умственным взором просто встает он сам, живьем, его человеческий образ, каким я его воспринимал и воспринял в своих встречах с этим изумительным экземпляром русской даровитости.

Еще мальчиком я был на публичной лекции Соловьева о Достоевском. Я мало что понял в ней, но раз навсегда в моей душе запечатлелось воплощенное в живой и красивый человеческий образ — *вдохновение мысли*. И в самом деле, это детское впечатление не было ошибочным: Соловьев в русской образованности был самым ярким воплощением мыслителя, мысль которого не просто работала, а подлинно носилась и кружилась на крыльях вдохновения, не теряя в то же время ясности и отчетливости, доходившей иногда до сухости. Это сочетание поэтического кружения с ясностью, почти педантической, осложнялось в личности Соловьева своеобразным юмором. Соловьев был не только мыслителем, не только поэтом. Он был, как человек и писатель, еще — *юмористом*.

Когда я в 1889 году поступил в Санктпетербургский университет, студенчество его переживало прилив *«этицизма»*, стремления заменить прежнюю веселость и разгул студенческого быта новой, не церковной, а даже противцерковной, но суровой «аскезой». Тут сказывалось всего более влияние Льва Толстого, преломлявшееся в напряженнейшем политическом и социальном радикализме. Мы были в одно и то же время и толстовцы, и радикалы — политики и социалисты.

И вот у нас явилась мысль в день празднования основания СПб университета, 8 февраля, традиционные студенческие обеды с изобильной выпивкой, кончавшейся нередко перенесением некоторого числа из пировавших настоящих и бывших студентов в «мертвецкую» ресторана, заменить суровыми, аскетическими чаепитиями с серьезными речами на темы общественной и личной морали.

Задумано, сказано, сделано.

Так возникли характерные для петербургских 90-х гг. студенческие чаепития 8 февраля. Весьма подвижной и энергичный кружок студентов по преимуществу первого курса, который мы тогда образовали (к нему принадлежали, между прочим, покойные Н. В. Водовозов и В. А. Герд), взял на себя инициативу в этом деле. На меня и еще одного студента естественного факультета, весьма милого и умного армянина 3-ва, выпала задача — привлечь на чаепитие в качестве почетного гостя и оратора Владимира Сергеевича Соловьева, слава и популярность которого, как либерального публициста, тогда находились в апогее.

Мы оба, и 3-в, и я, были весьма радикальны, гораздо левее Владимира Соловьева, очень энергичны и страшно застенчивы. Мы решили добиться своего, но ужасно волновались, когда подымались на лифте в один из верхних этажей «Европейской гостиницы» на Михайловской улице, где постоянно в Петербурге квартировал Соловьев.

Соловьев принял нас очень добродушно, с слегка насмешливой улыбкой. Его заинтересовала моя фамилия, но по совершенно своеобразной ассоциации, личный смысл которой для Соловьева раскрылся вполне для меня лишь гораздо позже, когда я узнал, что Владимир Сергеевич был очень, интимно близок с семьей Хитрово. В этой семье он

и встречался с моим дядей, который был предшественником одного из Хитрово в качестве русского дипломатического представителя в Японии. Соловьев спросил меня, в каком отношении я нахожусь к дипломату Струве. Я ему разъяснил это (дипломат Струве, Кирилл Васильевич, был моим дядей, младшим братом моего отца) и затем уже я мог, с большим волнением и смущением, приступить за себя и за 3-го к разъяснению предмета и цели нашего посещения. Никакого особого интереса к «безалкогольному» характеру предстоящего первого трезвого студенческого сходбища Соловьев не проявил. А наша мысль завербовать его в ораторы на этом сходбище вызвала с его стороны следующую реплику, произнесенную вполне серьезно, даже с видом какой-то меланхолической задумчивости:

— Знаете, господа, это невозможно. Подумайте ведь: если я у вас, на вашем вечере, даже скажу только: *Боже, Царя храни!* — то в Департамент полиции, знаете, эти господа, его агенты, напишут, что я сказал: *Бомбами Царя колоти!* Знаете, мне невозможно и даже запрещено говорить публично. Пожалуйста, увольте.

Это было сказано так мило, с таким обаятельным юмором, что мы оба, хотя и были почти до слез огорчены неудачей — ясно было, что Соловьева не только нам, но и вообще никому не удастся переубедить! — пришли в какой-то тихий восторг и, восхищенные, молчали, застенчиво улыбаясь.

— Знаете, — прервал наше восторженное молчание Соловьев, — есть люди, которые умеют и могут говорить, например, адвокаты. Обратитесь к ним. А я совсем не умею, совсем не могу.

Мы встали, как-то не весьма членораздельно поблагодарили Соловьева за любезный прием и раскланялись.

Потом, часто размышляя об остроумном ответе Соловьева на наше приглашение, я приходил всегда к выводу, что это было не простое острословие. Соловьеву была противна правительственная реакция 80-х и 90-х гг. Но ему столь же чужд и противен был и радикализм политический и социальный, который тогда вновь оживал после глубокого разочарования в нем в 80-х гг. и уже проявился в нескольких террористических попытках и в растущей популярности нелегальной литературы, как новой, социал-демократической, так и старой, народовольческой.

Кроме того, будучи публицистом-философом, Соловьев вовсе не был пропагандистом. И наша наивная попытка завербовать его в такое, хотя бы на один вечер, совсем не отвечала его натуре.

Позднее я несколько раз встречался с Соловьевым в кружке молодежи, собиравшемся у К. К. Арсеньева под его руководством. Но эти встречи не оставили в моей памяти никаких особенных следов. Пожалуй, одно только отрицательное впечатление прочно осело у меня. Соловьев, я уже сказал, не был вовсе пропагандистом, но он ни в каком смысле не был и педагогом. Поэтому не случайно, не только по внешним причинам из него не вышел профессор. Эта профессия была для него скучна, и он внутренне к ней не влекся.

Белград,
сентябрь 1930 г.

ЗАВЕТЫ ПУШКИНА

День Русской Культуры, как свободное начинание русского, свободного от коммунистического гнета, Зарубежья, как обнаружение его душевной силы и духовной воли, исполнен глубокого смысла и исторического значения.

Та борьба, которую мы ведем с большевизмом и советским гнетом, не есть только политическая борьба и не в политике содержится ее конечное оправдание.

Совсем наоборот.

Наша политическая непримиримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего нам, как гражданам, права, она есть наша обязанность, как носителей культуры, перед соборным существом, перед «мистическим телом», именуемым — Россия.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества*.

В этих вдохновенных словах величайшего русского гения выражена самая основная, самая интимная и самая возвышенная идея культуры, — любовно-свободная связь поколений, созидających культуру как ту «животворящую святыню», на которой покоится свободное бытие человеческой личности,

Самостоянье человека, —
Залог величия его.

* В академическом ПСС А. С. Пушкина (т. 3, ч. I, М. — Л., 1948, с. 242) в этом черновом наброске 1830 года отсутствует второе четверостишие, которое дается в вариантах (т. 3, ч. II, 1949, с. 849). В третьей строфе 3 и 4 строки выглядят так: «Как.... пустыня // И как алтарь без божества». — А. Р.

Да, конечно, мы любим, мы чтим русскую культуру, мы любим ее во всем ее своеобразии, во всей ее исторической полноте и красоте, изображенной и увековеченной лучше всего — Пушкиным. Не случайно с его именем связано, ко дню его рождения приурочено это торжество. К Пушкину пусть всегда обращается наш скорбящий дух, наша ищущая возбуждения мысль, переполняющее нас чувство любовной связанности с душою России.

Но будем памятовать и о том, чем велик и мощен Пушкин. Правда, его всечеловеческий захват в полной мере никому из нас недоступен, но пусть он будет для каждого из нас и вдохновенным призывом и великим уроком — всечеловечности.

Всему человеческому был открыт дух великого поэта. Пушкин никогда не оставлял пределов России. Но, «сердце укрепив свободой и терпением», он вобрал в это сердце весь мир и в художественных образах, в «звучах сладких и молитвах» подарил богатство мира своему народу. Ибо он знал, что

... огонь поэзии чудесный
Сердца враждебные дружит —
При песнях вдохновенья
Вражда (народная) молчит
И восстают благословенья
И (на сердца) нисходит мир*.

И из уроков чужой истории, французской, Пушкин извлекал поучения, которые и сейчас жгучей правдой и огненным призывом отдаются в наших сердцах.

О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.

* В ПСС (т. 2, ч. I, М.—Л., 1947, с. 335) иная редакция этих черновых строк из послания «Графу Олизару» (1824):

Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Перед улыбкою небесной
Земная ненависть (?) молчит,
При сладких (?) звуках вдохновенья,
При песнях..... (лир)...
И восстают благословенья,
На племена (?) нисходит мир...

В черновиках есть слова: «огнь поэзии священной» (т. 2, ч. II, с. 862)— А. Р.

Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет,— не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой:
Но ты придешь опять со мщением и славой,—
И вновь твои враги падут*.

В том величие нашего национального гения, что в подлинно великих его творениях все нужно, все живо, все — в лучшем смысле этих хороших русских слов — учительно и назидательно. Все исполнено русской национальной и в то же время всечеловеческой красоты, правды и свободы.

Июнь 1932 г.

ПАМЯТИ МАКСИМИЛИАНА А. ВОЛОШИНА

Страничка из воспоминаний

Из России пришло известие о смерти сильного и интересного поэта Максимилиана Волошина, скончавшегося не в очень старых годах, 55 лет, и это известие подняло в моей душе целый рой воспоминаний.

Я знал Волошина за границей, в 1904 и 1905 годах, «несуразным» и неоформившимся молодым человеком. Он и тогда был уже поэтом, но поэзия была для него в эту эпоху еще, так сказать, «побочным занятием», а главным была живопись. Сочетание это в истории литературы встречалось не раз: ведь начинали же с живописи поэты такого большого калибра, как наш Аполлон Майков и французский романтик Теофиль Готье.

«Несуразности» в внешнем виде и личном поведении у Волошина соответствовал уклон, мне лично совершенно чуждый, но понятный и — в известных пределах — даже привлекательный: анархический. У Волошина этот уклон в то время сочетался со спокойствием, доходившим до невозмутимости. Это была какая-то флегматически-анархическая певучая богема, неспособная на страсть, но понимавшая и ценившая чужую страстность...

В это время, бурное время идеалистической политической борьбы, отвергавшей всякую мысль о жестокостях, Максимилиан Волошин пел обо всем, только не о борьбе. По крайней мере, я не помню политиче-

* Цитируемый П. Струве отрывок из стихотворения «Андрей Шень» (1825) печатается здесь в пунктуации АПСС (т. 2, ч. I, М.—Л., 1947, с. 398.)— А. Р.

ских нот в его поэзии того времени, а декламировал он часто и охотно, обыкновенно сидя на низкой скамеечке в одном знакомом доме.

И тогда уже было ясно его своеобразное поэтическое дарование того смешанного типа, к которому принадлежат почти все такие дарования: типа поэтически-риторического. В нашей речи понятия «ритор», «риторическое» получили дурной привкус, между тем как они, в сущности, означают только «словесное искусство» или — если угодно — искусственное, «сделанное слово». У скольких писателей слово не просто выговаривается, и песнь не просто выпевается, т. е. не творится, а делается. Весьма различными, но в высшей степени характерными выражениями этого риторического типа в поэзии были такие два антипода, в этом, однако и родственные и близкие, как Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов.

Под их влиянием, по-видимому, непосредственным, складывалась поэтическая личность Максимилиана Волошина. Кроме Иванова и Брюсова, сильно, я думаю, влияя на Волошина и Бальмонт, с которым он в ту парижскую эпоху, помнится, находился в близком общении.

Наступили октябрьские дни 1905 года. Еще до акта 17 октября я, редактор «Освобождения», твердо решил ехать в Россию, — без всякой амнистии и без всякого разрешения. Личные обстоятельства (появление на свет моего младшего сына!) задержали мой отъезд до самого дня 17 октября. Вечером этого дня родился мой сын, и я — первый в Париже! — получил срочную телеграмму о конституционном манифесте, посланную мне Г. Б. Илосом, бывшим тогда в Берлине представителем официального Петербургского Телеграфного Агентства. 19-го я уже выехал из Парижа в Петербург, запасшись для беспрепятственного переезда границы паспортом... Максимилиана Волошина. Без всяких колебаний он сам предложил мне это. Я ехал, вовсе не рассчитывая скрываться. Но мне важно было проехать прямо в Петербург, не подвергая себя риску ареста на границе, ареста неминуемого, если бы я ехал со своим собственным паспортом (кстати сказать, выданным мне и подписанным последним Председателем Совета Министров Российской Империи князем Голицыным, занимавшим в 1901 году должность Тверского губернатора! При большевиках князь Голицын, уже глубокий старик, был бесмысленно казнен, какжется, в 1927 году). Приехав в Берлин, я озабочился способами проезда в Россию — тогда была всеобщая забастовка и железнодорожное сообщение прекратилось. Немцы решили использовать конъюнктуру и мобилизовали все свободные от обязательных рейсов пароходы для того, чтобы на них везти хлынувшую в Россию русскую публику всех званий и состояний. Я взял билет на пароход, шедший в ближайшие дни из Штеттина в Кронштадт. Меня смущало несколько то обстоятельство, что в числе своих сопассажиров я рисковал встретить людей, которые хорошо знали, что я не Максимилиан Волошин, а Петр Струве, и которые, наверное, стали бы не то боязливо и стыдливо сторониться от редактора «Освобождения», не то демонстративно сожалеть о предстоящем ему «лишении свободы». Мое опасение было основательное, потому что в числе моих спутников на пароходе, везшем нас

в Кронштадт, оказались В. В. Водовозов и покойный А. Г. Небольсин (кстати сказать, оба глухие!) и еще несколько человек, которые могли легко узнать меня. Но, с другого конца, мое опасение оказалось напрасным.

В Берлине то короткое время, которое мне оставалось до отхода парохода из Штеттина в Кронштадт, я проводил преимущественно в общении с покойным Г. Б. Иоллосом, блестящим берлинским корреспондентом, а потом редактором «Русских ведомостей», с которым меня, несмотря на различие возрастов (Иоллос был значительно старше меня!) и политических темпераментов, связывали дружеские отношения. Мы условились с Г. Б., что он приедет провожать меня на штеттинский вокзал.

Являюсь я на вокзал и Иоллос, с сдержанным и радостным волнением, встречает меня вестью об... амнистии. В этот самый день им была получена от И. В. Гессена из Петербурга телеграмма, что я — по представлению графа С. Ю. Витте — получил *личную амнистию*. Это обстоятельство весьма упростило мое возвращение на родину. Времени до отхода поезда было достаточно, и я тотчас направился к газетному киоску, купил конверт большого формата, вложил в него паспорт милейшего и добрейшего Максимилиана, написал ему несколько слов приветия и благодарности, надписал адрес и просил Григория Борисовича Иоллоса, немедленно после моего отъезда, послать этот конверт заказным отправлением в Париж.

После революции 1905—06 гг. в поэзии Максимилиана Волошина появились политические ноты, и ему, по справедливости, должна быть приписана — не знаю уж как сказать! — историческая заслуга, высокая честь или горькая участь: едва ли он как поэт не первый уловил еще в буре первой революции 1905—1906 гг. жестокий рев разнудывающей стихии и смутный гул, возвещающий роковое крушение великого государства.

Я тогда же отметил в «Русской мысли» этот исторический смысл поэзии Максимилиана Волошина. Позволяю себе привести здесь это суждение, произнесенное приблизительно четверть века тому назад.

«В № 2 журнала «Перевал» М. А. Волошин напечатал стихотворение, в котором с замечательной силой подчеркнут этот мотив русской революции (чувство ненависти и жажда возмездия).

Народу русскому: Я скорбный ангел мщенья!
Я в раны черные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья,
И голос мой набат. Хоругвь моя, как кровь.

На буйных очагах народного витийства
Как призраки, взращу багряные цветы.
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.

И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость.
Я грезы счастья слезами затоплю,
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю.

О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь! Я ведаю ваш счет...
Я камни закляну заклятием вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет!

Скажу восставшему: я злую едкость стали
Придам в твоих руках картонному мечу...
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я «знаки Рыб» на стенах начерчу.

Я синим пламенем пройду в душе народа,
Я красным пламенем пройду по городам;
Устами каждого воскликну я: «Свобода»,
Но разный смысл для каждого придам.

Я напишу: «Завет мой — Справедливость»;
И враг прочтет: «Пощады больше нет».
Убийству я придам манящую красоту,
И в душу мстителя вольтется страстный бред.

Меч Справедливости, карающий и мстящий,
Отдам во власть толпе... И он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий.
Им сын зарежет мать, им дочь убьет отца.

Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух»...
И будет он рыдать и в горе рвать одежды,
И звать других... Но каждый будет глух.

Не сеятель сберет колючий колос сева.
Поднявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.

«Я напишу: «завет мой Справедливость»,
И враг прочтет: «пощады больше нет».

В этой «справедливости», перед которой «нет пощады» врагу, т. е. несогласно мыслящему, схвачена психическая сущность многих явлений русской революции, накопившей *внутри себя* такой огромный капитал иррационального недоверия и озлобления.

«Один ты видишь свет. Для прочих он потух» — это сознание своей личной и групповой непогрешимости тоже в высшей степени характерно для русской революции. Сомнение в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человеческого отношения к другим людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и фактического.

Соглашение или компромисс недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным «хмельной отравой гнева» душам. («Русская мысль», январь 1907 г. Перепечатано в сборнике «Patriotica», Спб., 1911, с. 24—25.)

В эпоху «белого» движения Волошин написал о России несколько очень сильных стихотворений, которые были, если не изменяет мне память, напечатаны только за границей, а затем, по-видимому, замолк. Его натура в обстановке большевистского гнета не могла развернуться. Не могло в ней получить своего выражения и то почвенно-национальное, религиозно окрашенное чувство, которое владело Волошиным и оригинально сочеталось с анархическим уклоном его духа.

У Волошина, как у многих поэтов и художников вообще, дискурсивное* мышление не стояло на уровне его художественного дарования вообще, словесного искусства, в частности. Поэтому он мог производить впечатление ограниченного человека. Но это была все-таки богатая натура и интересная личность, которая со своеобразной физиономией войдет в историю русской поэзии.

Прага

21 августа 1932 года

* Рассудочное (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александр Д. Романенко. Петр Струве в истории наших дней</i>	2
Скорее за дело!	8
Герцен	10
Смысл смерти Толстого	13
Граф С. Ю. Витте	14
«Двенадцать» Александра Блока	18
In memoriam. Блок — Гумилев	19
Пророк русского духовного Возрождения	22
Владимир Галактионович Короленко	26
Аксаковы и Аксаков	28
Михаил Владимирович Родзянко	32
Мое приветствие Б. К. Зайцеву	33
Н. С. Лесков. Несколько черт из воспоминаний	35
Из воспоминаний о Владимире Соловьеве	38
Заветы Пушкина	41
Памяти Максимилиана А. Волошина	43

СТРУВЕ Петр Бернгардович

СКОРЕЕ ЗА ДЕЛО!

Статьи

Редактор-составитель А. Д. Романенко

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 17.07.91. Подписано к печати 16.08.91.
Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,08.
Тираж 84000 экз. Заказ № 716. Цена 25 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;